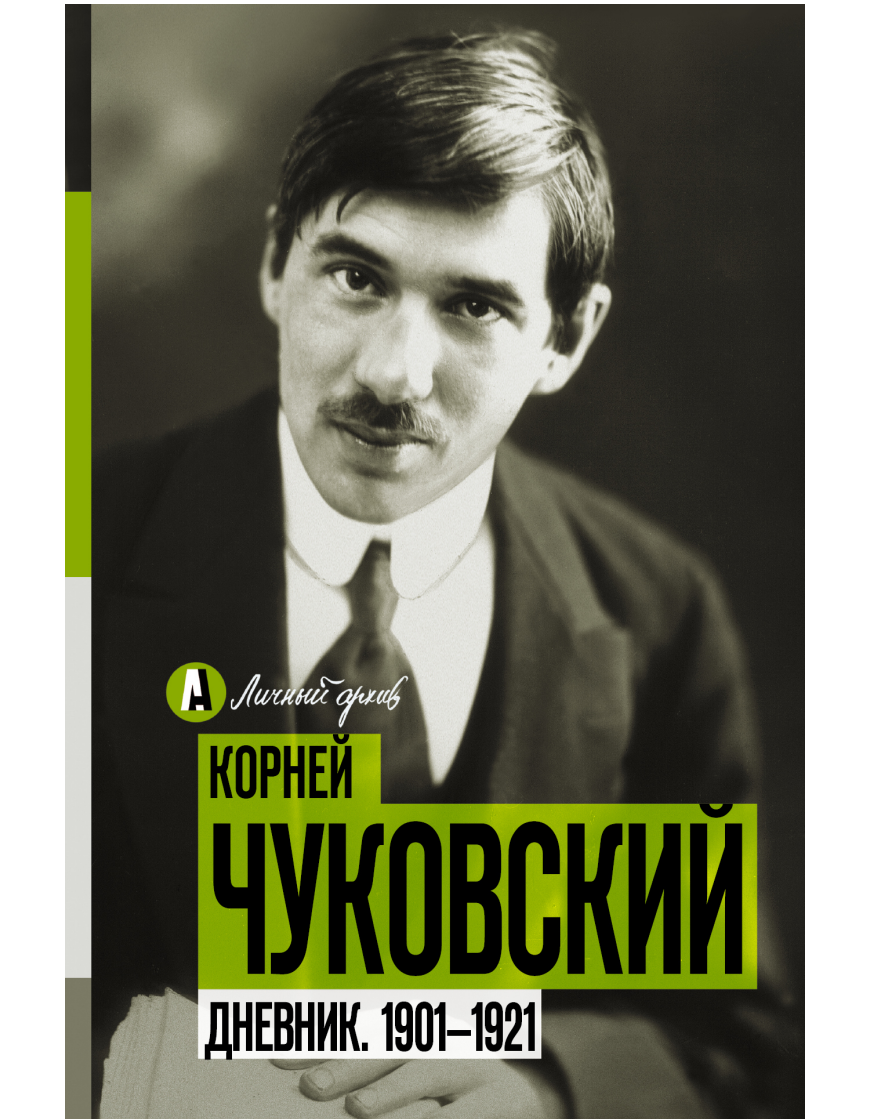


A black and white portrait of Konstantin Chukovskiy, a man with dark hair and a mustache, wearing a suit and tie. He is looking slightly to the left of the camera. The background is dark and out of focus. A vertical green bar is on the left side of the image.

А *Личный архив*

КОРНЕЙ

ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК. 1901–1921

Корней Иванович Чуковский

Дневник. 1901-1921

Серия «Личный архив»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23651828
Дневник. 1901–1921 / К. И. Чуковский.: АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-983007-8

Аннотация

Впервые отрывки из дневника Корнея Ивановича Чуковского были опубликованы в 1990 году сначала в «Огоньке», затем в «Новом мире». И уже в 2000-е годы впервые выходит полный текст «Дневника», составленный и подготовленный Еленой Цезаревной Чуковской, внучкой писателя. «Я убеждена, что время должно запечатлеть себя в слове. Таким как есть, со всеми подробностями, даже если это кому-то не нравится», – признавалась в интервью Елена Чуковская. «Дневник» Чуковского – поразительный документ «писателя с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений», это достоверная историческая и литературная летопись эпохи, охватывающая почти 70 лет с 1901 по 1969 год XX столетия.

В эту книгу включены записи 1901–1921 годов с подробным историко-литературным комментарием, хронографом жизни К.И. Чуковского и аннотированным именованным указателем.

Содержание

Дневник К. И. Чуковского	5
Дневник. 1901–1921	18
1901	18
1902	84
1903	114
1904 Англия	119
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Корней Иванович Чуковский Дневник. 1901–1921



Личный архив

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат ООО «Издательство АСТ».

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Составление, подготовка текста и комментарии – Елена Цезаревна Чуковская

Издательство благодарит наследников К.И. Чуковского за предоставленные фотографии.

Дневник К. И. Чуковского

Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя — это — в конечном счете — все-таки дневник для других.

Я знал Корнея Ивановича Чуковского, любил и ценил его, восхищался его разносторонним дарованием, был от души благодарен ему за то, что он с вниманием относился к моей работе. Более того. Он помогал мне советами и поддержкой. Знакомство, правда, долго было поверхностным и углубилось, лишь когда после войны я поселился в Переделкине и стал его соседом.

Могу ли я сказать, что, прочитав его дневник, я встретился с человеком, которого я впервые увидел в 1920 году, когда я был студентом? Нет. Передо мной возникла личность бесконечно более сложная. Переломанная юность. Поразительная воля. Беспрецедентное стремление к заранее намеченной цели. Искусство жить в сложнейших обстоятельствах, в удручающей общественной атмосфере. Вот каким предстал передо мною этот человек, подобного которому я не встречал в моей долгой жизни. И любая из этих черт обладала удивительной способностью превращения, маскировки, умением

меняться, оставаясь самой собой.

Он – не Корней Чуковский. Он Николай Корнейчуков, сын человека, которого он никогда не знал и который никогда не интересовался его существованием. Вот что он пишет о своей юности в дневнике:

«... А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их *не читал*. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова – оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, – и это пронзило меня стыдом. “Мы – не как все люди, мы хуже, мы самые низкие” – и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница – и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было, – я вижу: это письмо незаконнорожденного, “байструка”. Все мои письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, неискренни – именно от этого. Раздребезжилась моя “честность с собою” еще в мо-

лодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве – уже усатый – “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь – никогда не показывать людям себя – отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».

Что же представляют собой эти дневники, которые будущий К. Чуковский вел всю жизнь, начиная с 13 лет? Это не воспоминания. Горькие признания, подобные приведенному выше, почти не встречаются в этих записях, то небрежно кратких, то подробных, когда Чуковский встречался с поразившим его явлением или человеком. Корней Иванович написал две мемуарно-художественные книги, в которых рассказал об И. Е. Репине, В. Г. Короленко, Л. Н. Андрееве, А. Н. Толстом, А. И. Куприне, А. М. Горьком, В. Я. Брюсове, В. В. Маяковском. В дневнике часто встречаются эти – и множество других – имен, но это не воспоминания, а встречи. И каждая встреча написана по живым следам, каждая сохранила свежесть впечатления. Может быть, именно это слово больше всего подходит к жанру книги, если вообще осмелиться воспользоваться этим термином по отношению к дневнику Корнея Ивановича, который бесконечно далек от любого жанра. Читаешь его, и перед глазами встает беспокойная, беспорядочная, необычайно плодотворная жизнь

нашей литературы первой трети двадцатого века. Характерно, что она оживает как бы сама по себе, без того общественного фона, который трагически изменился к концу двадцатых годов. Но, может быть, тем и ценнее (я бы даже сказал – бесценнее) этот дневник, что он состоит из бесчисленного множества фактов, которые говорят сами за себя. Эти факты – вспомним Герцена – борьба лица с государством. Революция широко распахнула ворота свободной инициативе в развитии культуры, открытости мнений, но распахнула ненадолго, лишь на несколько лет.

Примеров бесчисленное множество, но я приведу лишь один. Еще в 1912 году граф Зубов отдал свой дворец на Исаакиевской площади организованному им Институту искусств. После революции по его инициативе были созданы курсы искусствоведения, и вся организация в целом (которой руководили и из которой вышли ученые мирового значения) процветала до 1929 года. «Лицо», отражая бесчисленные атаки всяких РАППов и ЛАППов, «боролось против государства» самым фактом своего существования. Но долго ли могла сопротивляться воскрешенная революцией мысль против набравшей силу «черни», которую заклеил в предсмертной пушкинской речи Блок.

Дневник пестрит упоминаниями об отчаянной борьбе с цензурой, которая время от времени запрещала – трудно поверить – «Крокодила», «Муху-Цокотуху», и теперь только в страшном сне могут присниться доводы, по которым оша-

левшие от самовластия чиновники их запрещали. «Запретили в “Мойдодыре” слова “Боже, Боже” – ездил объясняться в цензуре». Таких примеров – сотни. Это продолжалось долго, годами. Уже давно Корней Иванович был признан классиком детской литературы, уже давно его сказки украшали жизнь миллионов и миллионов детей, уже давно иные «афоризмы» стали пословицами, вошли в разговорный язык, а преследование продолжалось. Когда – уже в сороковых годах – был написан «Бибигон», его немедленно запретили, и Корней Иванович попросил меня поехать к некоей Мишаковой, первому секретарю ЦК комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с платочком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас – и не разрешила.

Впрочем, запрещались не только сказки. Выбрасывались целые страницы из статей и книг.

Всю жизнь он работал, не пропускал ни одного дня. Первооткрыватель новой детской литературы, оригинальный поэт, создатель учения о детском языке, критик, обладавший тонким, «безусловным» вкусом, он был живым воплощением развивающейся литературы. Он оценивал каждый день: что сделано? Мало, мало! Он писал: «О, какой труд – ничего не делать». И в его долгой жизни светлым видением встает не молодость, а старость. Ему всегда мешали. Не только цензура. «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я – без гнезда, без друзей, без своих и чужих. Вначале эта позиция

казалась мне победной, а сейчас она означает только сиротство и тоску. В журналах и газетах – везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что чужой».

Бессонница преследует его с детства. «Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница». Кто не знает пушкинских стихов о бессоннице:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Этот смысл годами пытался найти Чуковский.

«В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе – и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения этого я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь? Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы какой-то кусочек – и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: “сплю я или не сплю? засну или не засну?”, шпионишь за вот этим маленьким кусочком, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу! Бил до синяков – дурацкий череп, переменить бы – о! о! о!..»

Легко рассказать об этой книге, как о портретной галерее.

Читатель встретит в ней портреты Горького, Блока, Сологуба, Замятина, А. Толстого, Репина, Маяковского – я не перечислил и пятой части портретов. Одни выписаны подробно – Репин, Горький, – другие бегло. Но и те, и другие с безошибочной меткостью. И эта меткость – не визуальная, хотя внешность, походка, манера говорить, манера держаться – ничего не упущено в любом оживающем перед вами портрете. Это – меткость психологическая, таинственно связанная с оценкой положения в литературном кругу. Впрочем, почему таинственная?

Чуковский умел соединять свой абсолютный литературный вкус с умением взглянуть на весь литературный круг одним взглядом – и за этим соединением вставал психологический портрет любого художника или писателя, тесно связанный с его жизненной задачей.

Но все это лишь один, и, в сущности, поверхностный, взгляд, который возможен, чтобы представить читателю эту книгу. Сложнее и результативнее другой. Не портреты, сколько бы они ни поражали своей свежестью и новизной, интересны и характерны для этого дневника. Все они представляют лишь фрагменты портрета самого автора – его надежд, его «болеи и обид», его на первый взгляд счастливой, а на деле трагической жизни.

Я уже упоминал, что ему мешали. Это сказано приблизительно, бледно, неточно. Евгений Шварц написал о нем осуждающую статью «Белый волк» – Чуковский рано посе-

дел. Но для того, чтобы действовать в литературе, и надо было стать волком. Но что-то я не слышал, чтобы волки плакали. А Корней Иванович часто плачет – и наедине, и на людях. Что-то я не слышал, чтобы волки бросались на помощь беспомощным больным старушкам или делились последней пятеркой с голодающим литератором. И чтобы волки постоянно о ком-то заботились, кому-то помогали.

Уезжая из Кисловодска, он записывает: «...Тоска. Здоровья не поправил. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе (смерть маленькой дочки Мурочки. – *В. К.*) не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы – я без гроша денег, без имени, “начинающий автор”. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке – единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, а мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого». Последняя фраза знаменательна. Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с новой властью приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».

Проходит немного лет, и эту вынужденную двойственность он находит в поведении и в произведениях Михаила Слонимского: «Вчера был у меня Слонимский. Его “Средний проспект” разрешен. Но рассказывает страшные вещи». Слонимский рассказал о том, как цензура задержала, а потом разрешила «Записки поэта» Сельвинского и книгу Грабаря. «В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько изматывают нервов, пока выпустят. А задерживают немного, потому что мы все так развратились, так “приспособились”, что уже не способны написать что-нибудь неказенное, искреннее. Я, – говорил Миша, – сейчас пишу одну вещь – нецензурную, которая так и пролежит в столе, а другую для печати – преплохую». На других страницах своих записок Корней Иванович рассказывает о множестве других бессмысленных решений ужесточающейся с каждым годом цензуры.

Но дальше этого профессионального недовольства одним из институтов Советской власти он не идет. И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, так как мы легко можем представить себе такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».

Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верноподданническую фразу. Она объясняет многое. Она

объясняет, например, тот поразительный факт, что в дневнике, который писался для себя (и, кажется, только для себя), нет ни одного упоминания об арестах, о процессах, о неслыханных насилиях, которым подвергалась страна. Кажется, что все интересы Корнея Ивановича ограничивались только литературными делами. В этом есть известное достоинство: перед нами возникает огромный, сложный, противоречивый мир, в котором действуют многочисленные развивающиеся, сталкивающиеся таланты. Но общественный фон, на котором они действуют, отсутствует. Литература – зеркало общества. Десятилетиями она была в Советском Союзе кривым зеркалом, а о том, что сделало ее кривым зеркалом, упомянуть было не просто опасно, но смертельно опасно. Невозможно предположить, что Корнея Ивановича, с его проницательностью, с его талантом мгновенно «постигать» собеседника, с его фантастической преданностью делу литературы, не интересовало то, что происходило за пределами ее существования. Без сомнения, это была притворная слепота, вынужденная террором.

И кто знает, может быть, не так часто терзала бы его бессонница, если бы он не боялся увидеть во сне то, что окружало его наяву.

Я не надеюсь, что мне удалось рассказать об этой книге так, чтобы читатель мог оценить ее уникальность. Но, заранее сознавая в своей неудаче, я считаю своим долгом хоть кратко перечислить то, что ему предстоит узнать.

Он увидит Репина, в котором великий художник соединялся с суетливым, мелко честолюбивым и, в сущности, незначительным человеком. Он увидит Бродского, который торговал портретами Ленина, подписывая своим именем холсты своих учеников. Он увидит трагическую фигуру Блока, написанную с поражающей силой, точностью и любовью, — история символизма заполнена теперь новыми неизвестными фактами, спор между символистами и акмеистами представлен «весомо и зримо».

Он познакомится с малоизвестным периодом жизни Горького в начале двадцатых годов, когда большевиков он называл «они», когда казалось, что его беспримерная по светлому разуму и поражающей энергии деятельность направлена против «них».

Меткий портрет Кони сменяется не менее метким портретом Ахматовой — все это отнюдь не «одномоментно», а на протяжении лет.

Я знал Тынянова, казалось бы, как самого себя, но даже мне никогда не приходило в голову, что он «поднимает нравственную атмосферу всюду, где он находится».

Я был близким другом Зощенко, но никогда не слышал, чтобы он так много и с такой охотой говорил о себе. Напротив, он всегда казался мне молчаливым.

О Маяковском обычно писали остро, и это естественно: он сам был человеком режущим, острым. Чуковский написал о нем с отцовской любовью.

Ни малейшего пристрастия не чувствуется в его отношении к собственным детям. «Коля – недумаящий эгоист. Лида – врожденная гуманистка».

Не пропускающий ни одной мелочи, беспощадный и беспристрастный взгляд устремлен на фигуры А. Толстого, Айхенвальда, Волошина, Замятина, Гумилева, Мережковского, Лернера. Но самый острый и беспристрастный, без сомнения, – на самого себя. «Диккенсовский герой», «сидящий во мне авантюрист», «мутная жизнь», «я и сам стараюсь понравиться себе, а не публике». О притворстве: «это я умею», «жажда любить себя».

Дневник публикуется с того времени, когда Чуковскому было 19 лет, но, судя по первой странице, он был начат, по-видимому, значительно раньше¹. И тогда же начинается этот суровый самоанализ.

Еще одна черта должна быть отмечена на этих страницах. Я сравнительно поздний современник Чуковского – я только что взял в руки перо, когда он был уже заметным критиком и основателем новой детской поэзии. В огромности тогдашней литературы я был слепым самовлюбленным мальчиком, а он – писателем с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений. Нигде я не встречал записанных им, поражающих своей неожиданностью, воспо-

¹ Предисловие В. Каверина было написано для первого, сокращенного, издания Дневника. Оказалось, как это видно из настоящего полного издания, что уцелело и несколько более ранних записей. – Здесь и далее подстрочные примечания и переводы иностранных слов и выражений сделаны составителем. – Е. Ч.

минаний Горького о Толстом. Нигде не встречал таких трогательных, хватающих за сердце строк – панихида по Блоку. Такой тонкой характеристики Ахматовой. Такого меткого, уничтожающего удара по Мережковскому – «бойкий богоносец». Такой бесстрастной и презрительной оценки А. Толстого – впрочем, его далеко опередил в этом отношении Бунин. А Сологуб с его доведенным до культа эгоцентризмом! А П. Е. Щеголев с его цинизмом, перед которым у любого порядочного человека опускались руки!

Еще одно – последнее – замечание. Дневники Чуковского – глубоко поучительная книга. Многие в ней показано в отраженном свете – совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании. Но, кажется, невозможно быть более тесно, чем она, связанной с историей нашей литературной жизни. Подобные книги в этой истории – не новость. Вспомним Ф. Вигеля, Никитенко. Но в сравнении с записками Чуковского, от которых трудно оторваться, – это вялые, растянутые, интересные только для историков литературы книги. Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют русскую мемуарную прозу по новому пути.

26/VI.88

В. Каверин

Дневник. 1901–1921

1901

24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, – не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уславливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня – моих настроений и дум – пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него, и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, – стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, – и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня все-

го насквозь, она, для которой я делаю все это – моя милая, томная, жгучая, неприступная, – она и т. д.

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понятной и близкой, а для другого – я это отлично понимаю [край страницы оторван. – *Е. Ч.*].

25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу (98 или 99 г.): «...хочешь узнать, как я провожу время? – Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть Дух, но (!) в 3-х лицах, смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения... Потом завтракаю – почтительно выслушиваю от мамы, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным – дурно, что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору... Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца... В 2 часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в 4 приходит Кац, с ним мы читаем вместе, изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов; и кто был отец

Тургенева; узнаем, что литература – это зеркало; и узнав все это, идем на житковскую лодку*², где катаемся почти ежедневно. Берем с собою Розенблост, Вольф, Кац, Зильберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи, сплю... Вот и все... Не правда ли, славно?»

А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника:

27 сентября 1898 г. «Странные вещи бывают на свете! Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем, все благополучно... Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались 3 фигуры – 2 гимназиста, а один – этак штатский как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся – гимназистов нет! Что за черт! Бегу обратно, бегу, т. к. прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гроссман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и спрашивает, где я сейчас был... «У Юзи...» – «Врешь, – заорал Сеня, – ты провожал М...» – «Да, провожал и объяснялся ей в любви», – ответил я. «Нет, вы, наверно, философствовали о носовых платках, а впрочем, что ж? У Коли кровь

² Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги.

молодая, играет, как вино искрометное», – смеялся Даня...»

Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало.

Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет:

«Он не помнил, как это случилось, как это из религиозного мальчика, встававшего в полночь для тайной молитвы [край страницы оторван. – *Е. Ч.*]. А тогда ему было не до смеху, тогда, помнится ему, он подсаживал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом – грешно, и он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие... Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мяса – он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу, – он уверен, что там, где-то наверху кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние...

А теперь, теперь он с тоской жмет к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о

другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что....»

Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя.

Дневник – громадная сила, – только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это, – я иду от Ф... Половина десятого. Я должен уйти, туда пришла она... Иду и смеюсь... Она, гордая и чужая, требует, чтобы я ушел немедленно, она близка мне, она понимает, сочувствует, любит, она вся во мне... Вот она идет со мною, она знает, как это натягивают шинель и хлюпают калошами по лужам, как это размахивают руками, как это говорят: до свиданья, господа! – она знает, эта суровая жидовка с нахмуренными бровями, она говорит мне: «или я, или ты», а это звучит для меня «милый, дорогой, близкий, понятный, и я, и ты», – о, если б ты имел силу удержать навсегда это, чтоб ни один кусочек сегодняшней жизни моей не ускользнул от тебя... Что там? «Монистический взгляд на историю». Дивный монистический взгляд. Доня, шахматы, Ибсен, первые проблески весны, через 3 недели 19 лет, – все это годится для того, чтобы у меня лет через 20 вырвался крик зависти, щемящей зависти к самому себе (Без 10 м. 10 ч.)

Продолжаю собирать клочки. В 14 лет я написал пародию на Лермонтова:

1) Когда весь класс волнуется, как нива,
Учитель уж дошел до буквы К;
Как в саду малиновая слива
Спину соученика

2) Когда глаза обращены в бумагу,
А сам я жду, когда бы поскорей
Наш страж порядка, наш Фаддей,
Пролепетал звонком таинственную сагу.

(оборвано) не помню. Конец такой:

Тогда-то, чуть задребезжит звонок,
Смирятся души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе.
Тогда благодарю сердечно Бога,
И пятки лишь мои сверкают по земле.

27 февраля. Утром в 6 часов был у Вельчева, давал урок. Буду делать так каждый день. Сильный южный ветер. За тучами солнца не видать, но оно чувствуется. Если бы я был поэтом, я сказал бы: так я, не видя Маши, чувствую ее. Сегодня вторник, вечером лекция. Я в десять часов встречу ее на ее крыльце и скажу ей: у тебя домоседские, семейственные наклонности. Ты живо и сильно привязываешься к людям...

Тебе будут мои метанья не по сердцу. Тебе будет скучно по всем, кого я здесь брошу без капли жалости. Я тебе наскучу своими книжками да болтовней... Вот 3 вещи, которые ужасают меня. Скажи, что это не так; но если это так, что тогда? Не отнимай у меня опять моих надежд... Не отвечай мне ничего. Тогда... что тогда?.. Детко мое!

Буду продолжать свою «лекцию». В 4 часа пойду к Лизе и попрошу ее научить меня шить. Она хотела, чтобы я стал ее расспрашивать, почему ей нужно, чтобы мы расстались. В этом кокетстве много искренности, но теперь меня интересует одно – чтоб она научила меня шить.

Что это такое? На меня иногда находит такой столбняк, что я ни одной мысли самой простой не могу выразить.

Теперь 10 м. 5-го. К Лизе не пошел, «лекции» не писал, а разбрасывал снег, царапал себе лицо и бегал за молоком.

Уже больше 3-х лет не было у меня такой пустоты, как сейчас. Интеллектуальной жизни для меня почти не существует. Страдать от какой-нб. идеи, от «теории» я теперь не умею. Пропала и потребность в этих идеях и теориях. И я догадываюсь, почему. За 2 эти месяца вокруг меня только и делалось, что спрягались слова «любить», «ненавидеть», «презирать»; писались длинные письма, содержание которых я забывал через 2 минуты, в товарищах у меня оказалось такое пустое место, как Митницкий, – и вот результаты. Ну ничего, авось с Машкой догоним!

Вот стихотворенье, которое я написал ей год тому назад

(а впрочем, потом). Пустота, пустота и пустота. Буря бы грянула, что ли!*

Все мысли, какие приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательны, – мышление не доставляет, как прежде, удовольствия... Хорошая книга не радует, да и забыл я, какую книгу называл прежде хорошей. Раньше, когда находили на меня такие настроения, я их утилизировал, извлекал из них наслаждение, – я носился с ними, гордился, миндальничал, а теперь – просто бессилие и больше ничего. Вот даже дневника не могу вести. Теперь бы пошел я к М. Дернул бы ручку. Подождал. Через 3 минуты задержался бы засов. «Здравствуйте». Запах углерода. Ну а потом? Нет, я и к Маше не хочу.

Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи, какой черт стихи, – газетные фельетоны!

Идти на улицу, лужи, холодно, не к кому, рожа расцарапана...

Теперь 9 часов. Прочитал Глеба Успенского «Поездка в Сербию» – словно поговорил с умным, чутким, сердечным человеком. Был у меня Доня. Слушал, как я читаю ему Некрасова, спал на моей кровати, пил чай, курил. Он как в воду опущенный. Лишился, бедняга, урока. Маше написал записку. Изложил то, что хотел изложить устно. Я перед нею глупею, и нет у меня слов, нет у меня ничего... Так я лучше письменно... Пойду и стану в точке *a*. Это самое короткое расстояние. Хотя лучше бы в точке *b*. Посмотрю. Как бы Си-

гаревич не того... На небе вызвездило, ветер большой. Это хорошо. Иначе – туман и гниль. А ведь ей-богу мой дневник похож на дневник лавочника. Какие-то метеорологические заметки, внешняя мелочь...

Ну так что ж? Природой я всегда интересовался (не с эстетической точки зрения, а скорее с утилитарной), а мелочи мне теперь на руку. Довольно я с «крупным» поинститутничал.

«До известного момента!» Она сказала: «До известного момента!» Ура. Стало быть, она не переменяла своего решения. Что и требовалось доказать. Половина 11-го. Спать. А письмо мы все же спрячем. Вклеим. И покажем ей в «известный момент». Момент ли? Известен ли?

28 [февраля]. Был у Вельчева. Снег. Когда шел туда в три четверти шестого, у М. горела лампа. Неужели она так рано встает?

1-го марта. Лампа опять горела. Кто у них так рано встает?

Ф. наговорила мне дерзостей и глупостей, которых я не заслуживаю. Я всем говорю, что еду, для того чтобы не заподозрили никакой задней мысли. С самым простодушным видом подхожу к каждому знакомому: знаете, я через неделю еду. Куда? В Аккерман... – экзамен держать. Ф. видит в этом профанацию чувства к М... М. сказала мне, что она ни

за что не скажет Ф., что любит меня. «Она не поймет... Ну, скажите, на каком языке я объясню ей это, чтобы она поняла?» Я согласился с этим и не сказал ни слова Ф-е. Вдруг вчера Ф. говорит мне: «Скажите, как вы относитесь к плану М.?» Кровь бросилась мне в голову. «Неужели это они только условились. Неужели М. сказала ей все?» Оказалось еще худшее. М. ей всего не сказала, а пожаловалась на меня, что я подбегал к ней. Это не годится. Черт знает что может подумать Ф. Я сделал один промах. Говорю ей: «Ф., скажите мне, когда вы уверяли меня, что М. меня не любит, вы уже знали, что это неправда?» Удивленное лицо. «Неужели вы думаете, что она вас любит? Да как вам не стыдно!..»

Милая М., если б только одно слово!..

2 марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.

Позанялся с ним, наведалься к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду – это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не – и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, называл атеистов мерзавцами и дураками.

И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви*. Я не согласен ни

с одной мыслью Толстого, убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу, – и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цитировать.

«40 лет, – говорю я, – великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова... Мы стояли, разинув рот, и говорили, пожевывая: “Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно...”, и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот... наконец, мы соблаговолили вытащить руки, чтобы... схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается...» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо...

Т. е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! Если бы я был когда-нб. наверное убежден, что хочу видеть М., хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности, она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной, громадной руке. Но... черт его знает, хочу ли я. Зачем это

бывает так редко, что мы не спрашиваем себя ни о чем, а делаем так, как вырвется у нас? Да если б мы имели эту способность. Боже, как бы сильны мы были! Маня Ландесман, Сигаревич, Митницкий – и вообще вся эта дрянь – да ведь они скалы передо мною.

И теперь я не посмеюсь над своею нелепой речью, не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов. Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, – что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «в моей душе», присутствие, которое делает меня таким глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая... Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. Как? Помогите мне...

Говорю я это и не верю себе ни в грош. Может быть, мне свобода не нужна. Может быть, нужно мне кончать гимназию*, м. б. все это [край листа оторван. – Е. Ч.].

3 марта. Полка книг, – а впрочем... К маю – июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-ниб. в глуби Кавказа, денег бы насобирать и марш *туда*! А чтоб денег насобирать – ра-

ботать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть... Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», – говорит он через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произвести, ни слышать от нее таких слов. «Чем я был пьян, вином поддельным иль настоящим – все равно!»* Лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его – и не достигну цели своей – быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. «Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд зоревые огни.» и т. д. «Все ты возьми, в чем не знаю сомнения, в правде моей – разуверь, обмани, дай мне...» и т. д. И выше: «Дай мне опять ошибаться дорогами!»* Вот чего я прошу от всех, от судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход... (Об этом нужно будет сказать Сократу.) Ну так – стало быть, тайна, ошибка. Умышленная ошибка! По условию: ты обманываешь меня, а я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером?

1) Не быть вместе, т. е. занять большую часть дня отдель-

ной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно... Если можно, даже устроить себе препятствие, т. к. препятствие усиливает желание.

Обедов не устраивать. Домашний обед – фи! Совсем как Клюге с Геккер... Молоко, какао, яйца, колбаса – мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни... Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нб. кофейник – гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга. (Фу, какое скверное слово, опозитизированное, как знамя.) «Дикая утка» – почему муж остается с женой. (Кстати... Был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров – ничего и, когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого мужика, что в избе много тараканов.) Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще, все лишнее и ненужное! Смешно! Она прямо и сознательно сказала мне: я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы!

3) Нужно заботиться, чтобы жить возможно больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным, чтобы мое желание прочитать эту

книгу стало ее желанием, не только потому, что оно мое...

Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нб. таким, чего мы оба в равной мере не знаем. Ну вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с нею проштудирруем так, что только держись. Вообще, этого я не боюсь. Ее «босячество» мне в этом порукой.

Когда я говорю слово «босячество», мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы... Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе – раз, два, – и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обдeldывают свои темные делишки... сбираются в какую-то шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»

И потом идешь дальше и часа два твердишь себе в душе: вороны, вороны.

Вот такое настроение, которое возникает от такой обстановки, у такого человека, в такое время, я и называю «босячеством». (Боюсь, что через год я не пойму этого определения.) Ну, так я говорю, что у Маши этого босячества – тьма. На него я возлагаю большие надежды. Но тараканы, тараканы... Те самые, что завелись в телефоне чеховского «Оврага»*, вот чего я боюсь. Тот рассказ о тараканах. Сюжет его очень труден, в моем теперешнем изложении он кажется даже неправдоподобным. Но у меня это рассказывается так

естественно, так просто, читатель так вводится в круг событий, что под конец — когда героиня убегает — он не то что понимает, а даже чувствует, что и он сделал бы так... Здесь в этом рассказе типично и характерно не действующее лицо, а самое положение. Здесь читатель не воскликнет: «Ах, сколько таких людей я видел вокруг!» — нет, он скажет: «Сколько раз я был в таких положениях!» Разве не потому я отдал сына в гимназию, что боялся тараканов! Разве не тараканы помещали мне бросить и ассessorство, и столоначальничество, и винт, и серебряную табакерку на 25-летнем юбилее, разве не от тараканов дочка моя Любочка вышла замуж за... и т. д.»

Не то я говорю... Я иногда через минуту не понимаю своей мысли. Мне хотелось поговорить о типичности положений, а съехал я на разговоры о мелочи житейской (хотя, ей-богу, под тараканами подразумевал кое-что крупнее мелочей). Джером Кл. Джером где-то говорит, что если ищешь какую-нб. книгу, она всегда оказывается последней. Поговорю об этом потом, а теперь пушу Меланью прибирать, а сам читаю.

Только что кончил П. Бурже «Трагическую идиллию». Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами, теперь, одолевая конец, вряд ли бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я

получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный, образованный – Бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным нам досконально, и это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора. Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки, и ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих их движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холодное научное понимание. Притом же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку, он считает своим долгом *объяснять* каждое свое «дерновение»... «Пьер, – говорит он, – поступил так-то и так-то, потому что все натуры такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении на показ своей художественной лаборатории. Мыслить образами – да разве можно художнику без этого! Да будь ты хоть распреумный человек, но если ты не можешь познать вещь иначе, как через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах... Сколько ума, наблюдательности вложил Бурже в свой роман... Каждое слово его – показывает необыкновенную вдумчивость, каждое лицо его – как живое стоит перед нами. Но жило оно до тех пор, как Бурже ввел его в свой роман,

чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, а пустил их на свободу жить — он не сумел стать в стороне от них да и смотреть, что из этого выйдет.

Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и т. д. Поневоле вспоминается наша «Анна Каренина», это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который сталкивал их, как было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь!..

А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Эли высморкала нос в четверг, а не в пятницу, сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня почувствовать этой бедной, оскорбленной женщине... жалких слов, которые так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, холеная, — но и только.

Теперь у нас все идет к весне, хотя все мы упорно держим в голове, что март бабу заморозил. Март – самый капризный месяц. И настроение у людей в марте по сорок раз в день меняется... А неизменным остается одно: чувство недоверия, подозрительность, мнительность. На дворе солнце, под ле Вельчева травка, а в голове «замерзшая баба». Вот месяц, когда царь Давид мог бы и скинуть свое кольцо с надписью «все проходит» (если ношение его было, конечно, неудобно)... Стоило ему глянуть в окно. Вон у меня в окно видно горничную Косенко. Стоит в платочке, замечталась, в небо глядит. И чувство чего-то необычного и в этом стоянии, и в этом мечтании – как-то веселит и пугает меня. Точь-в-точь кольцо Давида. Черная (а не зимняя серая) туча разорвется, и оттуда глядит синее небо, новое, незнакомое, забытое... Смотрю вверх и думаю: что это меня испугало? – А! Это новый узор облаков. Раньше испугаешься, а потом дашь себе отчет, почему испугался.

Прочитал Успенского: «Умерла за направление». Собственно – перечел. Лет 5 тому назад он уже попадался мне под руку.

Максим Иванович, от лица которого ведется рассказ, этот человек, вечно помалкивающий в уголку, не умеющий связать двух слов, вечно отвлекающийся, – вот художник, громадный, стихийный; иначе, как образами, он и думать не умеет... Образы борются в нем, переливаются, сталкиваются, рвутся наружу, – и всем не художникам людям кажется,

будто человек этот, раздираемый образами, отдающийся их власти, будто он просто-напросто не умеет правильно мыслить.

Рассказывает он про одного обстоятельного человека. Другой бы прямо сказал: так и так, обстоятельный был человек. Этот так говорить не умеет. Он приводит несколько эпизодов из жизни этого человека, заставляет его двигаться, говорить, жить – и мы из этих его движений да говорений выводим: обстоятельный человек. Меня, конечно, несколько не соблазняет параллель между Бурже и Максимом Ивановичем. Я это так, к слову, а я про другое. Про распространение идеи в обществе. Для этого следовало бы профессора Крживицкого прочесть да боборыкинским «Однокурсником» и приложить. Мне всегда казалось подозрительным и антихудожественным то маленькое обстоятельство в романах этого господинчика, что он показывает нам людей, сконцентрированных у данной идеи, стоящих, так сказать, у ее очага, у колыбели ее, а многие ли стоят у колыбели? 10–15, не больше. А идея раскинется геть широко, широко, и опынется³, глядь, где-нб. на Чукотском носу, преломленная, отраженная, изменившаяся до неузнаваемости, неосязаемая теми, кто выражает ее, на шкуре кого она вырисовывает разноцветные узоры. Декадентство!

³ окажется (укр.).

Г-жа Цадик спрашивает: мама вдома? – «Дома, дома! Пожалуйста!» Маня пошла зажечь в «апартаментах» лампу, – писать мне больше не хочется. Теперь четверть седьмого. У мамы денег нет. Дал Меланье на обед деньги я. Жалко – страсть. На котлеты, суп и молоко пошло 89 коп., причем суп вчерашний. Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения. Впрочем, нет, теперь не четверть седьмого. Я забыл. Часы стояли. Спросил у Мани. Без четверти восемь.

Видел вчера ее... За полуквартал от дома. Ни взглядом, ни движением не показали мы, что знакомы друг с другом. Оденусь и пойду звать Федору пройтись. «Русское самосознание» – мочи нет, надоело.

В-о-с-к... – Воск! Что такое воск? – «Не знаю»... – А в церкви была? – «Была». – Свечку ставила? – «Ставила». – А из чего свечка сделана? – «С воску». – Ну, вот видишь, ты знала, что такое воск.

Больная мама лежит и еле улыбается, ей нравится все это священнодействие. Тихо, чисто в комнате, ее любимая

взрослая дочь мирно трудится – все уютно, патриархально, ей хочется улыбнуться, она не может, сил нет.

Только что пришел со двора. Скверно и гнило. Федоре сказал, что сегодня читать с нею не буду. Вернулся домой.

Сейчас лягу спать и прочитаю в постели что-нб. легенькое.

С невинной Мальвиной
У длинной Федоры
Сидел я в гостинной
И вел разговоры.
«В угоду народу, —
Сказала Мальвина, —
В огонь я и в воду»

и т. д.

Завтра почтальон принесет мне ответ от Вольдемара...
Ровно 2 недели. Неделя туда, неделя обратно.

4 марта. Воскресение. Нет еще и девяти часов. Пришел от Вельчева... Погода великолепная. Утром – небо розоватое, ветерок подсушил дорогу. Камни беленькие, чистенькие, крыши сухие и матовые... Здоровье и надежда.

Вчера на ночь прочел хорошенький рассказик. С французского. Заглавия не помню. [Пересказ рассказа пропущен. – Е. Ч.]

Жить ожиданиями, надеждами нельзя – старость – время,

когда живут прошедшим, воспоминаниями, и – да здравствует человеческая способность обманывать себя! – старичок начинает внушать себе, что он мог бы быть человеком. Что в прошедшем случилось что-то несправедливое, обидное, и отрадная грусть, горделивое смирение – все эти приятные для человека чувства, не позволяющие ему оскорблять себя, – наполняют их сердца и позволяют им жить спокойно и тихо долгие годы, сойти торжественно в могилу.

6-го марта. Все, написанное мною под пятым марта, – кусок черновика «Разбор баллады Толстого В. Шибанов» для какой-то гимназистки 8-го класса⁴. Доня доставил мне этот заказ... Исполнив его в три часа, я получил 3 рубля. Ничего себе. Был у меня 4-го числа Вельчев, я с ним занимался от половины седьмого до половины одиннадцатого. Читали «Историю» Соловьева, делали алгебраические задачи... Да, кстати, мой месяц у него начался 2-го числа; те дни я остался ему должен; он же задолжал мне полтинник. Стало быть, я даю ему уже пятый урок, как бы не сбиться.

Так он писал темно и вяло,
Что декадентством мы зовем,
Потом главу из «Капитала»
Читал с Онегиным вдвоем.

⁴ Сочинение об Ал. Толстом, написанное для заработка, исключено.

Пришло мне в голову написать современного «Онегина» – пародию*; фельетончик что ли!

Ничего не ел, аппетит пропал. Устал я очень, бессонница. Эх, если б можно было сегодня же удрать! 3 недели. Как я вынесу их? Эти 3... Уже лет пять я не жил так однообразно, так гнило. Меланья говорит: «Потарамкал, потарамкал супу, да так полную тарелку и оставил»... Попробую сейчас молоко пить... Ты, я знаю, не любишь молока... 3 недели... Видеть тебя издали, не протянуть тебе руки, не оглянуться, оставаться в полнейшем неведении о твоих желаниях, планах, мыслях, – Маша, ну что это ты делаешь!

Мама больна. Ни кровинки на лице. Еле говорит... (Книги, какие я возьму с собою: Михайловский, Успенский, Бокль, французский словарь, английский словарь, Олендорф, Royal-readers⁵, атлас, Пушкин – больше ничего. Продам все. Из учебников: латинский и греческий словарь, латинскую грамматику, алгебру, физику, Закон Божий и т. д.) Мамочка, – прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит – не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их. «Ах, на что мне судьба буржуазии, если я не окончил гимназии», – вот моя пословица.

Март... 7-го, среда. Красота и больше ничего! Красиво сказать:

⁵ Учебники по чтению фирмы «Royal» (англ.).

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

(Чаадаеву, 18 г.)

Пушкин говорит. Но, с другой стороны, очень красив и такой возглас:

Зависеть от властей, зависеть от народа – не все ли нам равно? (36 г., *Пиндемонти якобы*.)

Он и возглашает.

И не в возгласе дело. А в настроении. Красиво и упоительно быть пророком отчизны своей – вот вам «Клеветники России», где Наполеон назван наглецом, а вот вам в «Пиндемонти»: «Не все ли мне равно, свободно ли печать морочит олухов иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура?»

Все равно! Ну, а в послании к цензору (24 г.):

Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?*

Стыдно. Человек, которому все равно, пристыживает... Скажут, разница лет. Убеждения переменились. Под влиянием чего? Ерунда! Для таких людей, как он, – убеждения

не нужны. Пишет он Чаадаеву – думаешь: вот строгий ригорист, вот боец. Чуть не в тот же день он посылает Кривцову письмецо, о содержании которого отлично дает понятие такой конец: «Люби недевственного брата, страдальца чувственной любви». Просмотреть письма – прелесть. В письме к каждому лицу он иной: к Вяземскому – пишет один человек, к Чаадаеву другой; и тип этот выдерживается на протяжении 30-ти писем. Выдерживается совершенно невольно, благодаря внутреннему чутью художественной правды, выдерживается невольно, я готов даже сказать: против воли. Он сам не понимал себя, этот бесконечный человек, он всячески толковал про какую-то особую свободу, про какие-то права, объяснял себе себя: хотел сделать себя типом каким-то, для себя хотел типом быть, в рамки себя заключить. Прочитать его письма к Керн. Это милый шалун, проказник, славный малый, рубаха-парень – и весь тут, кусочка нельзя предположить лишнего, вне этого определения. Вот образчик тона этого письма: «Вы пишете, что я не знаю вашего характера, – да что мне за дело до вашего характера? Бог с ним! разве у хороших женщин должен быть характер? Главная вещь – глаза, зубы, руки и ноги!.. Если б вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, я питаю к вашему супругу. Божество мое! Ради Бога, устройте так, чтоб он страдал подагрой. Подагра! Подагра! Это моя единственная надежда!» Ну и вдруг:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты, —

я не знаю лучшего стихотворенья.

Соединить и то и другое — вот он истинный, живой.

Вот даю себе слово. Подтянуться в своем дневнике. Заставить его хоть сколько-нибудь отражать мою жизнь. Как это сделать? Потом... Теперь спать. Завтра Вельчев, Бельтов, Косенко, Пушкин, Феодора и царапанье своего лица. Как это сделать? Во-первых, никогда не садиться за дневник, не имея что сказать, а во-вторых, вносить сюда все заметки насчет читаемых книг⁶.

8 часов. Открыл форточку — и взялся перед сном почитать письма Тургенева к Флоберу («Русская Мысль», 26 VII), вдруг шум. Я к окну. Дружный, весенний дождь. А утром сегодня было дивно хорошо. Восток красный, края туч золотые.

У Тургенева была дочь, прижитая им от крепостной его матери. Он признался в этом г-же Виардо, та взяла ее к себе

⁶ Здесь и далее знаком «^к» отмечены конспекты по философии за 1901–1904 год. Конспекты помещены в «Приложении 1» под той датой, когда сделана запись.

в Париж и воспитала там.

9 марта. Письма Тургенева к Флоберу – ничего интересного. Каминский в предисловии уверяет, что Тургенев и Флобер были ужасно дружны, просто влюблены друг в друга*. Может быть! Но в письмах нет ничего сердечного, ничего душевного... Советы, которые давал Флоберу Тургенев, им не исполнялись. Тургенев советовал переменить заглавие романа «Education sentimentale»⁷ Флобер не переменял, Тургенев советовал скорее кончить «Antoine»⁸ – Флобер кончил его через 4 года после совета. Интересна лестница обращений Тургенева к Флоберу: «Cher Monsieur», «Cher Monsieur Flaubert», «Mon cher confrère», «Mon cher ami», «Cher ami», «Mon bon vieux»...⁹

Все какие-то коротенькие записочки, с тургеневским несколько надоедливym, несколько бестактным сюсюканьем.^{к)}

Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева-Андреевича и проч. нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтешь 10, 15 стр., тр., тр., тр... говорит, говорит, говорит, кругло,

⁷ «Воспитание чувств» (*франц.*).

⁸ «Антуан» (*франц.*) – имеется в виду «Искушение святого Антония».

⁹ сударь, любезнейший господин Флобер, дорогой собрат, мой дорогой друг, дорогой друг, старина (*франц.*).

цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Анненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и, по свойству всех стариков, уверенных, что в «их время» было «куда лучше», – создали из него мифическую личность. Некрасов, написавший эпитафию Белинскому, чуть только тот помер, называет его «приятелем», «наивной и страстной душой», а через несколько лет Белинский вырастает в его глазах в «учителя», перед памятью которого Некрасов «преклоняет колени»*. Тургенев был недоволен Добролюбовым и противопоставил ему Белинского – здесь уж и говорить нечего об объективности*. (Правда, Достоевский через десятки лет все же осмелился назвать Белинского – сволочью, но на него так загикали, что Боже ты мой!*)

Прочитал Ветринского: «Т. Грановский». Не талантливо. Я думал о Ветринском лучше. Все же материалу довольно. Вот эпиграмма на Булгарина, помещенная в «Москвитяине» 40-х годов: «К усопшим льнет, как червь, Ф[иглярин] неотвязный; В живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почетных кто умрет, Клеймит он прах его своею дружбой грязной. – Так что же? Тут расчет: Он с прибылью двойной презренье от живых на мертвых вымещает, и, чтоб

нажить друзей, как Чичиков другой, он души мертвые скушает».

10 марта. Только что побил свою больную маму. Сволочь я такая. Сильно побил. Она стала звать дворничиху. Стучала, рвала окно. Я держал ее, что есть силы. «Смейся, смейся! – говорит она. – И над чем ты смеешься?» А у меня слезы на глазах. «Я этого и не заслуживаю, – я дура, ты умный, а кто ж уму тебя научил?» – Черт возьми, какая я дрянь.

Итак, решено... Завтра скажу Мане... Послезавтра иду в редакцию «Листка». Вечером у Маши. Если паспорт буду иметь через 4 дня – драла вперед. Увезу с собою монистический взгляд на историю. Оставлю ей записку.

Раздумал. Так скоро нельзя. Ни за что.

12 марта, понедельник. Вчера была у меня Анна Яковлевна Блюм. Мы с нею позлозязычничали – и я с восторгом убедился, что не отвык еще от этого ремесла. Она пришла за Бельтовым. Я, конечно, ей его не отдал, да он и не ее. Он принадлежит «писателю» Феодору Александровичу *Боброву*; этот Бобров, как оказывается, получил наследство и живет в Екатеринославе. Я с радостью взялся отнести ему книжку. Через 2 недели я там. Узнал адрес: Новая ул., д. Проскура. Жену его зовут Елисавета Петровна. Будет где остановиться. Для Маши я подстрою – сестру Каца. Нужно узнать, как ее фамилия и где она обитает. Свой план раньше

понедельника не выполнил. Даже у Вельчева не был – ботинок нема. Вчера от 5 до 11 читал вслух Вельчеву «Евгения Онегина» и «Мертвые Души»...^{к)}

13 [марта], вторник. *Вчера видел ее.* Луна. Все бархатное, мягкое.

Не забыть зайти к Грабку – урок. Скоро десять. До десяти потолкую, а дальше ни-ни.

Зайти мне к М. 15-го? Нет. Зайду 19-го. На именины. Зайду и скажу ей: 24-го в субботу будьте в 9 часов... Нет, она заподозрит ложь. Лучше сделаю, если подойду к ней 23-го. 10 дней! Как ждать?

Вт.	Ср.	Чт.	Птн.	Суб.	Вск.	Пон.
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

Все что угодно, только не ждать. Этого я не умею. Жить «покамест» – это не жить. Милая, как хватает у тебя силы?.. Теперь я не имею никаких интересов, никаких стремлений. Прежнее оставил, новых «покамест» не получил. И живешь «как-нибудь», все равно как-нб., лишь бы смять, скомкать как-нб. эти 10 дней...

14-го [марта]. Меланья говорит: Ой, слушайте, Коленка, была вчера у нас тайная полиция... Страшно... Пузачи. В штатском. Зашли к Савелию. Я встать хочу... «Лежить,

лежить, матушка, у нас к вам дела (!) нет». – Позвать управляющего? – «На черта нам управляющий!» – Что же они делали? – Книжки осматрели тай ушли.

Вчера прислал Вольдемар письмо. Уроки достать трудно. Комнаты он, наверно, достать не сможет... Э! Трижды наплевать. Еду...

Она очень любит чеховский «Рассказ неизвестного человека». Дала даже Нюне Мрост прочитать. Помнится, этот рассказ я посоветовал ей. Содержание смутно, как в тумане. Два человека – мужчина и женщина – удрали в Италию. Он тряпка; она героиня. Рассказ ведется от лица тряпки. Поэтому он невольно привлекает к себе... Но на самом деле он, как и всякий банкрот, вызывает некоторое... как бы это сказать? Жалеть мы его жалеем, но говорим: «Не хотел бы я быть на его месте». И не потому не хотел бы, что судьба его треплет, а потому, что он удобен очень для трепания. А М., кажется, он симпатичен. Она не только жалеет, не только сочувствует, но и преклоняется перед ним. И, кажется, она готова проводить параллель между ним и мною. Впрочем, я не знаю этого наверное, а что она хочет быть похожей на героиню – в этом для меня нет сомненья. Т. е. хочет, чтобы эта героиня на нее была похожа. А героиня та, если я помню, поставила во главе угла жизни своей – любовь, и все к любви принаровляет. Боюсь, чтобы М. не была такою. Вопрос: можно ли человека отучить от этого? Ответ: можно, для этого нужно изломать все его мирозерцание.

Татьяна Пушкина – не настоящая, а та, которую выдумал и навязал Пушкину Белинский, – она имела уже известные стремления, а потом бессознательно выбрала себе подходящее миросозерцание, а если миросозерцание – следствие, если причины переменить нельзя (а причина здесь – стремление), то... ответ получится другой. О! я отлично понимаю, как такие люди смотрят на вещи. Любовь сама себе довлеет, она приписывает законы, оправдывает всякое (злое даже) деяние, сделанное для нее; любовь – ее присутствие – заставляет таких людей уважать себя, она позволяет им (очень неглупым и, подчас, насмешливым людям) священнодействовать и т. д.

Вот они каковы. Маша нет. Если бы только она сама когда-нб. поняла, сколько величия и красоты в ее простых, обыденных словах: уедем, Коля, отсюда...

Вот она решается для меня жизнь свою переломать, всю изменить и говорит мне это так, словно просит закрыть дверь. Какой вонючей свечкой показался я перед этим «солнцем правды» (да здравствует Карамзин!), я со своими напыщенными, неискренними словами, обещаньями, клятвами.

Теперь со мной некоторого рода реакция. В 17 лет я ужасно опозитизировывал вещи. Несколько умышленно, это правда... – а теперь, как я ни напрягаю мозга, сердца, памяти, – поэзии не получается, той поэзии, которая делает такими таинственными эти лунные ночи, которая наделяет всех этих

широкобедрых кур какими угодно возвышенными качествами, которая настолько добродушна, что позволяет себе быть обманутой, – нет ее совсем. – Глядишь... Черт знает, что за глупости пишу я сегодня.

Читал роман Станюковича: «Черноморская сирена». До-читал до слов: «Оверин, *обыкновенно* ничего не пивший, сегодня пил более *обыкновенного*», и бросил.

С радостью отмечаю, что осталось 9 дней... Еще 9 дней нам глядеть друг на друга, как на зверей. А потом... Тараканы... Тараканы... Вот мы сидим в сырой лачужке. Говорить нам нечего. Все выговорено, мы выдохлись и на самом деле интересны друг другу, как вот этот стол. Перед нами политическая экономия Чупрова, но – Боже мой! – какое нам дело до всех этих ценностей, девальваций и рент! Жизнь идет еще сумрачнее и обыденнее, чем дома.

Денег нет. Ведь на дорогу 15 р. А всего у меня сейчас 18 р. 16 к. Отправляться – безумие.

Да. Но безумие храбрых – вот мудрость жизни. Лачужек бояться – хором не иметь.

14 марта 1901 года. Так сказать, предисловие. Нет, не 14-е, а пятнадцатое. Вечер. 20 м. 10-го. Отчего у меня дрожат руки? Боже мой, отчего она такая? Ну зачем она хочет

торжественности, эффекта, треску? Ну зачем оттолкнула она меня? Что, она боится новой лжи или вымещает старую? Отчего я не музыкант? Я глупею, когда мне нужно говорить с ней. Я сыграл бы ей, она бы поняла.

Вот тебе предисловие. Кому предисловие? А тому, кто будет после меня. На мое место. Потомку моему. Я оставляю ему эти бумажки, и он лет через 300 будет с восторгом и пренебреженьем разбираться в них. Восторг потому, что он узнает, что он уже не такая дрянь, а пренебрежение по той же самой причине. Друг мой, я не хочу пренебрежения. Слишком жгуче, слишком остро прочувствовал я – и теперь я заработал себе право быть вялым и бесцветным. За это презирать меня нечего. Да и ты, кто бы ты, человек XX столетия, ни был, – ты цветистостью богат не будешь. Душа твоя будет иметь больше граней, чем моя, стало быть, больше будет приближаться к кругу. *А круги все друг на дружку похожи.* Ты и за это будешь презирать меня. Друг мой, ты укажешь на противоречия. Я вижу их лучше, чем ты.

Как согласовать экономический материализм с мистицизмом, мою любовь с сознанием ее низкого места в мировой борьбе, мои надежды с сознанием невозможности их осуществления, – я знаю, ты упрекнешь меня в непродуманности, в отсутствии критичности и т. д. Но подумай сам, если только ты хоть немного похож на нас, жалких и темных людишек порога XX века, скажи, можно ли думать о проверке, когда первый вопрос, который так рвется из меня всего, что

я порой не чувствую вокруг себя ничего, кроме [угол страницы оторван. – Е. Ч.].

15-го марта. Прочитал «Земледельческие идеалы» Богучарского. Статья крохотная, да и содержание микроскопическое. Общие фразы... Удивляется, почему Успенский, который так ясно понял, что ему «соваться» в деревню нечего, почему он продолжал «соваться»? Находит объяснения Успенского (глава «Смягчающие вину обстоятельства») «чудовищными» – (Успенский объясняет свое «сованье» тем, что прежний цельный, стройный быт разлагается керосиновыми лампами да ситчиками). Признает за ситчиками не только разрушительное, но и созидающее значение. Россия *должна* обуржуазиться. Земля *должна превратиться* в товар, способный производить другие товары, крестьяне – в пролетариат, – и никакое донкихотство не поможет. Плакать нечего, ибо «Neues Leben blüht aus den Ruinen»¹⁰. Вот и все.

В 11-й книжке «Русского Богатства» Михайловский пишет об «одной лжи на Глеба Успенского»*: «Успенский-де вовсе не донкихотствует. Он отлично понимает, что иначе и быть не может...» Статья прочувствованная, но неубедительная.

Остригся. Беседовал со своим цирюльником об оперетках. Он в восторге. Хорошо, черт возьми, иметь гитару, выписывать «Родину», восторгаться оперетками. А впрочем,

¹⁰ «Новая жизнь пробивается сквозь руины» (нем.).

мне и этого не хочется. Не могу я жить «покамест», не могу.

Нужно прочитать чеховских «Мужиков».

Энгельса «Die Lage der Arbeiten den Klasse in England»¹¹.

8 дней...

Прочитал-таки «Черноморскую сирену». Бесцветно. Конец совсем дрянной. Он вытекает, положим, из свойств действующих лиц, характерен для них, но положение не характерно.

16 марта. От 24 февраля до 16 марта – 21 день.

За это время я написал 60 страниц дневника. По 3 страницы. Увеличится или нет потом, с ней? Прочитал «Переписку Герцена с невестой». Сантименты ужасные. В его письмах мне чудится неискренность, манерность. Положим, дело было в 37-м году, Герцену, если не ошибаюсь, было 25 лет, но все же чувствуется.^{к)}

Взять сегодня у Гробка 1 р. 05 копеек. Пойду к нему в 7 ½, чтобы к Маше не подходить. Если останусь один, непременно подойду, а я не хочу. Милая, вернешь ли ты мне меня? Или я навсегда останусь таким дрянненьким, ничтожненьким, робким вздыхателем, который, невзирая на то, что его гонят, как собаку, – бегают опустив хвост и на каждый пинок отвечает виляньем этого хвоста? Где мои зубы, мое огрызание, моя горячность? Даже горячности нет. Подошел, сказал ей несколько слов, она наговорила мне тьму глупостей, я вя-

¹¹ «Положение рабочего класса в Англии» (англ.).

ло и словно против воли протестовал, потом вильнул хвостом и поплелся в свою конуру. Не умею я выразить ей такой простой мысли: мне нужно же условиться с нею насчет того, где, когда и как. Нужно предупредить насчет кое-чего, посоветоваться, – как же иначе... В этих всех приготовлениях – ничего нет ни оскорбительного, ни прозаичного, ни... приукрашивать жизнь, выдумывать, что вот это красиво, а вот это нет, – значит, не понимать красоты. Или все без изъятия красиво и поэтично, или ничего, и нет красоты совсем. (Это – не мой взгляд. Я отлично понимаю историчность этого явления, субъективность его, субъективность, которая вытягивает из разнообразных мира явлений то те, то другие и называет их красивыми. Но здесь и покривить душой можно.) Я скажу ей, что к этой романтической неестественности (от слова «естество», а не «естественность») приучили ее романтические произведения Горького, вопли и нытье по не серой жизни Чехова и т. д. (Опять знаю, что Чехов и Горький только семена, а почва (душа ее) раньше была готова.)

17-е [марта]. Был у меня вчера Швайцер. Советовал ехать морем. Интереснее, Ялта, Севастополь и т. д. Цена одна, если Азовским... Это я записал в половине 5-го утра, а теперь без 10 м. 10 ч.

Читал вчера Успенского: «Новые времена, новые нравы». Хорошо, очень хорошо! Не закончил еще. Жду, как наслаждения, свободного времени.^{к)}

19-е [марта]. 1901 г.... Именинник, 19 лет... Кругом 19. 1901 г... Впрочем, я к мистицизму не склонен и лотерейных билетов под 19 номером покупать не стану.

Лежу в постели. Свалился позавчера с чердака. Разбил спинной хребет и черт его знает, когда встану. А делать нужно так много. Нужно познакомиться с каким-нб. гимназистом 8-го класса и попросить его, чтобы достал разрешение из гимназии. Полцены. Хоть до Ялты или Феодосии. Потом нужно узнать у знакомых, нет ли у них кого-нб. в Севастополе, в Ялте, в Феодосии, в Керчи, в Новороссийске, в Батуме...

«Ну, Коля, поздравляю. Дай Бог тебе всего... Вот, на тебе на книгу или на что-нб... Не целую, бо насморк», – говорит мамочка.

В руке у меня 3 рубля. Книга или «что-нибудь»?

Особенно в Батум, Кутаис, Тифлис. Черт с ними! 5 дней всего. Нужно пойти на гавань, узнать про пароход, нужно продать книги, отобрать книги, дочитать тьму книг, которых

в Баку не достанешь. А я лежу. Боже, как это неостроумно. Деньги собрать надо...

Нашел старую записную книжку. Рисунки, заметки по астрономии, кусочки лекций.

Какие-то цифры, которых я теперь не понимаю. Книжке ровно год, т. к. есть запись: «Лекция професс. Вериго. 21 марта, вторник (дождь)»...

Есть отрывки дневника: 25 марта 1900 г. «Колович сказал мне про свою невесту: она будет несчастна на всю жизнь, если я скажу ей, что разлюбил ее». Это я записал, чтобы пристыдить его, когда он женится. Время настало, но это будет жестоко.

Познакомился с Ф. Это скверно. Я ведь ее насквозь знаю. Знаю, какие [вырвана следующая страница. – Е. Ч.].

Был у меня Б. Житков. Странно – он мне эту ночь снился. Хочу дохромать к нему сегодня. Отдал ему из маминых – 2 рубля. Получил тьму адресов. Некоторые годятся. Нужно еще и еще. Пойду сегодня к Грабку. Возьму у него 1 р. 40 к. У m-те Косенко нужно получить: с первого по двадцатое минус 3 урока.

21 марта. [На обороте картинки записано]: «Гордость, которая не выносит жалости». Вечер – 17 октября 99 г.».

Я потому записываю эти клочки, что меня теперь, как кошмар, стала давить мысль о тайне нашего «я». Я улавливаю все следы моего прежнего «его»...

Вчера совершил безумное дело. Встал с постели и пошел к Житкову на Княжескую. Каждый шаг, словно удар молотком, в глазах темнеет, руки дрожат... Когда пришел к нему, был уже в каком-то невменяемом состоянии: жар, озноб – все что угодно. Бориса не застал. Посидел у него час и пошел назад. Я ведь не к нему ходил, как я теперь понимаю, я ходил увидеть ее...

22 [марта]. А потом на извозчике. Ну, да этого я не забуду – и записывать не для чего.

В Симферополе, как сообщает «К[рымский] В[естник]» [Севастополь], застрелился (брат С. Перовской?) бывший студент Николай. Волга и Ока вскрылись уже. «Русские Ведомости» хотят хорошего министра, не педанта, мягкосердечного, твердохарактерного. А «Гражданин» хочет Ванновского. «Пушай отдохнет от „военного дыму и пороху“». Для отдыха! Прежде воеводство давалось «для кормления». В «Кредитке» повысились облигации, хоть деньги теперь дешевле, чем в январе. Почему? «Потому, – объясняет Ханс в „Листке“, – что биржа – это капризная женщина». Публика очень насторожена. Подозрительна. То ходатайство Сухомлинова о рассрочке платежей, то слухи о реорганизации выпуска облигаций. Министр отказал в ходатайстве.

Хохлацкая поэзия: в Уссурийском крае, куда переселились хохлы —

Земли хочь удавися,
Воды хочь утопися,
Лиса хочь повисся,
А хлиба хочь сказися.

Прочел Вайнбергу. «Ах, если б туда позволили переселиться евреям!»

Запах углерода. «Вы готовы ехать? Зовите извозчика!» Т. е. как? «Это так принято, чтобы Коля звал извозчика. Вы не готовы? Так зачем вы пришли сегодня? Придите, когда будете готовы». Я, подобно Хармацу... А впрочем, иду.^{к)}

Николаев. 27 [марта]. Читал вчерашнюю газету. Хохо-тал как безумный. Под некоторыми сообщениями так и хочется видеть подпись: *Щедрин*. Вот, например, письмо митрополита Антония к графине Толстой. Ну чем не щедринская хохма: «Есть слава человеческая и есть слава Божья». «Носят они (пастыри) бриллиантовые митры и звезды, но ведь это „несущественное“». Один солдат, когда его спросили, чего он хочет, хлеба или пирога, отвечал: «Все равно, что хлеб, что пирог. Давай пирог». Все равно, что бриллианты, что рубище, давай бриллианты.

Характерно для Софьи Андреевны, что она стала упре-

кать попов ни в чем другом, а в ношении бриллиантов*. Она всегда на мелочь, на внешность обращала свое птичье внимание. Несомненно, она похожа на евангельскую Марфу, и Толстой гениально передал нам ее образ в Кити.

Или вот еще. На празднестве греческой колонии Навроцкий сказал: «Мы, русские, забываем тех, кто в юности не жалел своих сил и трудов на пользу обществу. Я русский. А *потому* позволяю себе *вспомнить*... об Ив. Юр. Вучине». Хорош силлогизм.

П. А. Зеленый заметил, что земля, на которой стоит Одесса, есть юг России. Ей-богу. («Одесский листок». № 80. Вечернее приложение.)

Прочел «Крейцерову сонату». Она меня как доской придавила. Ужас – и больше ничего. Ужас тихий (спокойный, сказал бы я). Возражать, конечно, можно, можно даже все произведение перечеркнуть, но ужас останется. Образная художественная сила.

Я плачу. Мне тяжело. Почему, как, я не умею сказать – что я понимаю? – но я чувствую, что все это не то, не так, что я обманут кем-то, чувствую. – И мне хочется кричать, проклинать...

Боже, как давит. Что делать? Николаев – пыльный, скучный, ужасный городишко. Поп, у которого я теперь, слишком уж добр. Матушка слишком уж о пасках заботится. Маша слишком далека, Ф. слишком глупа.

Перепишу *ее* дневник – клочок из дневника, неведомо как ко мне попавший. Если бы я не знал М., я бы посмеялся над этими кудрявыми фразами. Но я знаю, как она не любит пышности, как ей противна всякая неискренняя ложь, всякая фраза. Простота – великая вещь. Гораздо труднее быть простым, чем сложным. Не всякий это умеет. Этому нужно учиться. Я по себе знаю, как больно, когда каждое слово «не в то место попадает». Я давно уже оставил попытку записывать на бумаге свои душевные движения. Не хочется лгать... Внешний быт, внешние проявления чувства, состояние погоды – вот содержание моей летописи. Она этого не могла делать. Она не могла отречься от души своей, потому что ничего, кроме ее движений, для нее тогда не существовало, я помню ее тогдашнюю... Молодая, здоровая, вечная хохотунья – она как-то намекала (невольно, может быть) всякому желающему понимать, что у нее таится еще что-то, большое, серьезное, несколько на трясущий хохот не похожее. Но кто же желал понимать? – Даня? Он хотел обнимать, а не понимать. Или, может быть, Роза? Нет, конечно нет. Я не обвиняю ее. Я никого не обвиняю. В этом весь ужас моего положения. Я не могу, как Толстой, – обвинять мужчин в нецеломудрии, в разврате, женщин в единственном стремлении – нравиться, в единственном крике: на, возьми меня! Меня,

а не другую, меня...

Я не могу обвинять. Я знаю, насколько бессознательно, невольно исполняет индивидуум требования общества. Я знаю тысячи девушек – и почти не знаю других, – вся деятельность которых направлена к тому, чтобы возбудить в мужчине половое чувство, и которые повесились, если б узнали это. Я сочувствую бедным рабочим, я не от себя это делаю. Этого требует от меня общество, равнодействующая благосостояния которого только тогда не нарушится, когда в данный исторический момент этот класс одержит победу и... поработит остальные. Не от себя я ненавижу капиталистов, не от себя я восторгаюсь Чеховым. [Наброски статьи «К вечно юному вопросу...» пропущены. Страница заполнена нарисованными пером головами, бюстами и фигурами людей. – Е. Ч.]

Нет, я не могу писать об этом, я все лгу, все лгу. О, если б опять вернулась ко мне способность... Нет, не то, не то, не то.

Боже, помоги мне. Я плачу – оттого, что я ничего не понимаю, оттого, что я один, совсем один, оттого, что я чего-то ужасно хочу – но как, где, почему нет у меня ничего? Пусто. Не нужно слов. Пусто...

28 марта. Никогда больше не буду писать про свои «душевные чувства» или как это там называется. Бессилие полнейшее. Один разврат. Вот цель: так затарабанить себя, что-

бы никогда не, и т. д.^{к)}

Белинский был особенно любим*.

Молясь твоей многострадальной тени,

Учитель, перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени.

Читал стихотворения Крупнова. В прозаическом предисловии он «выражает гг. читателям искреннюю благодарность».

А в стихотворном обращении к читателю он говорит: «Буду рад, коль *ты*, стихи читая», etc. В посланиях ты, на деле – вы-с... Стихи – дрянь ужасная, но ей-богу симпатичные. Будто Плещеев, но 3-й сорт. Мирозерцание, конечно, такое: на свете скверно оттого, что есть скверные люди. Будь скверных людей поменьше – и нам будет легче жить. Рифмы: сестра и Христа, душевный – вдохновенной. Есть, конечно, и про тернистую дорогу, и про маяк, который освещает людям путь, и все такое. Это даже не остроумно. Раз – хорошо, но тысячу раз жарить по шаблону – это значит не иметь настоящего чувства, значит позычать¹² его, значит жить на чужой счет, значит мошенничать. Отсюда следует, что быть неоригинальным писателем – это быть мошенником. Талант посмотрит на любую вещь – и в каждой он найдет новую черту, новую сторону, старое чувство он перечувствует по-но-

¹² Позичити – занять, взять в долг (укр.).

вому. Поэтому неталантливый писатель, который является в мир только для того, чтоб изложить в стихотворной форме прописи, – может сидеть и не рипаться. Гг. читатели знали это и до него. За прописи может и должен браться только талант. Пошлость и скука – скверные вещи – это мы станем выслушивать от Чехова, а если Митницкий возьмется пропагандировать те же вещи, то нам покажется, что он над нами смеется, издевается. Ведь все дело художника – побороть привычку. Мы, например, привыкли к тому, что мы умрем, с самого детства слышим мы про это. Ну и ничего. Смеемся, веселимся, торгуем; увидим покойника – сострим... А если б мне, скажем, до 20 лет ничего не было известно про ожидающую меня смерть и вдруг кто-нб. известил меня, что что бы я ни делал – меня в конце концов ждет уничтожение, – черт знает в какой ужас пришел бы я!

Так вот, все дело художника – заявить мне про известную знакомую вещь так, чтобы мне показалось, что я только первый раз встречаюсь с ней, чтобы все мои прежние, обычные представления о вещи не заслонили бы ее истинного смысла и значения.

Ко всему привыкает человек, ко всему приспосаблиется – откиньте следствия этих привычек и приспособлений, и вы заставите трепетать наши сердца от *истинного* познания вещей, от так называемого художественного чувства.

Только художник умеет откинуть эти обычные, привычные представления или, лучше сказать, – он не умеет не от-

кидывать их. По нашему простому пониманию, затемненно-му привычками, – это не больше как преувеличение, отсюда грубая доктрина: быть художником – преувеличивать всякие чувства; отсюда лазейка для всех, кто хочет подделываться под истинного гения.

С этого момента я перестаю понимать то, что пишу, – поэтому прекращаю.

Вы вот удивляетесь, как это все мудрено в мире, все хорошо: и времена года, и устройство тела человеческого – все целесообразно. Лучше и не выдумашь. Забывается, что человек к этому приспособился сам. Если б весь мир был кастрюлей с кипятком, то появились бы существа, способные жить и там, и потом бы они говорили: как хорошо устроено в мире, Бог нам и кипятку послал, и кастрюлю. Что бы мы делали без них! Эх, господа, а вы еще толкуете про какое-то объективное, вечное счастье! Стыдно, Рая.^{к)}

29 [марта]. Достал у отца Василия книжку Мордовцева «Господин Великий Новгород» и прочитал за ночь с таким аппетитом, будто мне 12 лет. Роман как роман. Тьму таких прочитал я за обедом, в постели. Конечно, есть злодеи, конечно, есть герои. Конечно, Шелонская битва произошла вследствие того, что новгородец Упадыш был влюблен в же-

ну сына Марфы Посадницы и надеялся, что в битве его (сына этого) убьют. Конечно, Марфа действует только руководимая нежным чувством. Но выдержанный стиль, дух, словно передающий былое мировоззрение, но та чудесная сила, с которой автор зовет наши симпатии к неодушевленному предмету – к городу, – пленили меня. Город живет, страдает, чувствует, оскорбляется – и мы так захвачены его индивидуальной драмой, что готовы ненавидеть и Москву, и Упадыша, и ведьму – всех врагов его. Об этой индивидуализации драмы см. первую книжку «Русского Богатства» – у Короленко*.^{к)}

Прочел Шашкова: «О периодической печати в Англии». Статья составлена по какому-то английскому сочинению. Видимо, была написана для журнала. Чуется намек на нашу журналистику, хотя ни одного слова на этот счет...

Когда нужно представить страну, находящуюся в застое, автор берет Китай. Это похоже на манеру, о которой говорит он сам: в Англии было запрещено писать о парламентских делах. Чуть ли не смертная казнь за ослушание. Один хитроумный джентльмен стал писать о парламенте, называя его римским сенатом. Говорится, как общественное мнение было на стороне гонимых журналистов. Так и кажется, будто здесь мораль для великолепных моих соотечественников. Не принадлежит ли Шашков к числу «гонимых журналистов»?

В статье о «женщине» я встретил личные наблюдения автора над проституцией г. Шенкурска Архангельской губер-

нии. Биографии его нет при собрании соч., стало быть, жив. Статьи помечены 70-ми годами – началом 80-х... Наверно, так. Я ничего не слыхал о нем. А впрочем, какое мне дело? Компилятор, черный работник, солдат литературы – не больше.

Но и не меньше.

30 [марта]. Играл со Скибицким в шахматы. Из 11-ти партий дал ему девять матов. Стыдно. Ведь он учитель математики в классической гимназии...

2 апреля. Ночь. Маша... Пасха, приготовления, дорога на Фонтан, Ботанический сад, слезы, Лука, язык пыли, что сорвался по дороге, вокзал, Герц.

Нужно вклеить листочек, на котором я записал кое-что из Герца. Есть у меня одна мысль, скорее чувство, о производительности общества; о равенстве. Ну, да я все равно не выражу ее...^{к)}

Кажется, **6 апреля.** Стою у ворот, бездумный, сонный, с тяжелой головой. Где-то бурхают тяжелые сапоги, шелестят туфли, вот затарахтел извозчик, а я дергаю за колокольчик: спит проклятый цыган. Теперь $\frac{3}{4}$ 1-го. Не писал – не до того.

Весь день проспал. А ночь – провел с Машей. И не только ночь, а и весь день. Мадам Гольдфельд! Кулич, Лукерья, ветчина, яйца, стакан чаю... Собаки на циклодроме...

Груз души.

7 апреля. Четверть 9-го... после Вельчева. Сольнес строит высокие башни и не решается взобраться на те башни, которые сам строит... А я! Я разрушаю все эти башни, и нет у меня мужества стать под их обломки... Сиречь: так или иначе, послезавтра еду. Ужасно насточертела эта канитель. Да, нет, да, нет, — а я ничего не делаю, хожу, как сумасшедший, из угла в угол.

12 апреля. Вот стихотворение Оле Лифшиц:

Очи к небу воздевая,
Он восторженно сказал:
[нрзб.] Моя родная!
Мой предвечный идеал!
Ах, годна для мадригалов
Ласка пошлая твоя!
Вечных нету идеалов:
Идеал от бытия.
Бытие разнообразно,
Переменчив идеал...
Ольга Лифшиц говорила,
Бедный юноша дрожал.
Герц в великом Agrarfrage¹³
Нат [нрзб.] ни аза...
И по щечке у бедняги

¹³ Аграрный вопрос (нем.).

Покатилась слеза (H₂O).

Что там? Словно струйка пара,

Что летит из самовара,

К небу медленно взвилась

И сокрылась из глаз.

Это призрак Боливара...

Надоело! ^{к)}

16 апреля. «Ну, Коля, прощай, будь честным человеком, смотри», – сказала мамочка. Пароход свистнул. Я подобрал узлы. Серая публика, галдеж. Стою на палубе; умильно гляжу. Белое перо на маминой шляпе закачалось и поплыло от меня. Сел где-то в уголку... Солдат приглядывает за вещами.

Вот мои записи: Часы над дверьми, откуда вышла барышня, – 25 минут одиннадцатого. Жизнь моя – хоть в воду. Горе в прошлом, горе в будущем. А в настоящем ничего себе. Посередке островок. Вечный островок довольства. Он переплывает всю жизнь. Скажут – вот жалкое существо. И он думает, что он счастлив; а на самом деле! «Друзья мои! если я думаю, что я счастлив, я уже счастлив» (Bentham).

Огни Одессы словно потеснились друг к другу – и через 2 часа слились в одну нитку.

Часа 3. Светает. Лиман только что был, как твердый, застывший свинец, теперь, как сталь.

28 и 29 мая.^{к)}

4 июня. Сажу у Черкасских (напротив), жду Марусю. Стараюсь сердиться. Уже, должно быть, девятый час, а она не идет. Дочитываем Маркса.^{к)}

2 августа. Утонул Моник Фельдман*.

3 августа. В «Новостях» появился некролог, написанный Бродовским Исидором. Мораль: мир праху твоему, честный труженик!

27 ноября. В «Новостях» напечатан мой большой фельетон «К вечно юному вопросу». Подпись: Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня «молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но очень интересно»*.

Радости не испытываю ни малейшей. Душа опустела. Ни строчки выжать не могу.

28 [ноября]. Угощал Розу, Машу и Альталену чаем в кондитерской Никулина*. Altalena устроил мне дело с фельетоном... в конце сентября я принес ему рукопись – без начала и конца, спросил, годится ли. Он на другой день дал утвердительный ответ. Я доставил начало и конец – он сдал в редакцию, и там, провалявшись около месяца, статья появилась на свет.

5 декабря. До сих пор погода стояла кристально чистая, с голубым небом, с сухими тротуарами, со здоровым воздухом. А вчера вечером и сегодня утром – туманы. Читаю Меньшикова: нравственно-философские очерки «Основы жизни»*. Ничего пошлее не видал.

Рассуждения субъекта из породы Иван Ивановичей. Тухлые и тупые... Обывательская философия – тягучая, унылая канитель, которую любят разводить отцы семейства за чайным столом... Читаешь книгу – она постным маслом смердит, окно открыть хочется, воздух очистить.

Боже мой, сколько нынче расплодилось таких животных. У него в комнате канарейка цвиркает, на окошке горшки с геранью, все у него чисто, симметрично, прилично, – придет от ранней обедни – и валяй «от своего ума» философию разводить. Беритесь за перо, учителя чистописания, записывайте, не пропуская ни одного слова. Каждое годится в пропись. Какая глубина, какая неоспоримая правда: «Женский вопрос»... Ерунда с уксусом, и больше ничего...¹⁴

7 декабря. Жду мистера Барабаума. Читаю Туган-Барановского «Экономический фактор в истории». Удивительно скоро постарела эта статья. Ведь в 95 г. – это было почти откровение, а теперь – я думаю, тому же Туган-Барановскому совестно даже и вспоминать эту свою статью.

¹⁴ Наброски для статьи о Меньшикове исключены.

8 и 9 [декабря].^{к)}

10 [декабря].

Ни одной строчки не могу выжать. Статья моя о Меншикове безнадежно плоха. То есть полнейшее творческое бессилие. Ни единой мысли – техника беспомощно слаба. А между тем напечатать что-нибудь нужно во что бы там ни стало. Дать такую плохую статью Хейфецу* – это значит потерять в его глазах репутацию. Почему у меня вещь выходит так хорошо, когда я не думаю о печати, и слабеет, чуть вспомню я про газетное мое сотрудничество?

А ведь, чего доброго, клейнеровское возражение на мою статью напечатают в сегодняшнем № «Новостей». Черт его знает, что ему отвечать! Копошиться в каждой фразочке я не могу. Я напишу иногда статью и сам не понимаю ее через час. А когда пишешь – замираешь, и не знаю я, откуда у меня берутся мысли, слова для их выражения, – ведь когда я не сижу за бумагой, я никогда о них не думаю...

Так что отвечать Клейнеру на его письмо по пунктикам – нечего и думать.

Если разом не схвачу – пропало. Эх, черт возьми, хорошо Геккеру... Написал фельетон – и ни единой мысли, то есть раздолье.

Прочел чеховских «Сестер». Не произвели того впечатления, какого ждал. Что это такое? Или я изменился, или он!

Ведь год тому назад прочтешь чеховский рассказ – и неделю ходишь, как помешанный, – такая сила, простота, правда... А нынче мне показалось, что Чехов потерял свою объективность, – что из-под сестер выглядывает его рука, видна надуманность, рассчитанность (расчетливость?). Все эти настроения, кажется, получены у Чехова не интуитивным путем, а теоретически; впрочем, черт меня знает, может, у меня, indeed¹⁵, уж такая бесталанность наступила, что «мечты поэзии, создания искусства восторгом сладостным уж не шевелят больше моего ума»*.

Вот оно что такое, обыденность! Боюсь быть подло неоригинальным, но все же повторю одно славное словечко: «Заедает!» Мечешься, валандаешься, и все не по каким-нибудь «интересам», а из мелочишек. А это не то что нечестно, недобросовестно, а прямо невыгодно.

Ответить Клейнеру разве вот этак.

Право, Одессу газетчики оклеветали понапрасну. «И черствая она, и сухая она, и ничего возвышенного у нее нету».

Мне, напротив, кажется, что нет на Руси города, который до такой степени волновался бы всяким теоретическим открытием, имел бы столько, как говорили прежде, «духовных интересов» – и вот вам одно из доказательств: две недели тому назад я написал статейку об искусстве, и вот до сего времени я получаю одесситские письма по этому поводу. Опро-

¹⁵ в самом деле (англ.).

вергают, подтверждают и вообще суетятся страшно. А ведь вопрос о чистом искусстве не имеет, кажется, никакого отношения к пшенице!

Некоторые одесситы прислали на имя редакции свои мнения, высказанные на обильном количестве страниц. Вот одно из таких мнений и напечатано во вчерашнем №. Нет, такое начало не годится. А год тому назад ловко бы я закатал ответ. Кстати: нужно писать рождественский рассказ. Назвать его: *Крокодил*. (Совсем не святочный рассказ.)

Господа! на этом листе напечатано много рассказов. Не читайте их. Прочтите мой. Мой хорош уж тем, что в нем мы вовсе не собрались в кружок у старого университетского товарища, гостеприимного Б. Разговор у нас вовсе не коснулся женщин, старому Б. и в голову не приходило сверкать глазами и говорить замогильным голосом: я вам расскажу одну историю. Это было лет 30 тому назад... Мне шел 26 год... Нет, ничего этого (=не было). Дело происходило совершенно иначе:

В доме купца Самодурова... и т. д. [Далее записано продолжение конспекта статьи о Меньшикове. – Е. Ч.]

11 декабря. Читал сегодня Жаботинскому свою статейку. Понравилась. Отнес в редакцию – и вот я на бездельи. А мне ни за что бездельничать не хочется – опять время упustiшь. Нужно, чтобы после второй обязательно шла третья – обязательно. 5 статей дам – а там и подумаю, как и что.

Милый человек этот Altalena! Прихожу сегодня к нему – он спит, а уже двенадцатый час. Какое двенадцатый – первый! Работал вчера долго – вот и заспался. Я подождал – он оделся, вышел, даю статью свою с замираньем – прочел. – Ну, говорит, неужели вы сомневаетесь! – валяйте скорей к Хейфецу. Быть может, завтра пойдет.

12 [декабря]. Хейфец был занят, статьи моей не прочел, и она сегодня не пошла. Я встретил Хейфеца на улице. Раскланялся – и, памятуя совет Альталены, – даже не заикнулся о статье. Так – лучше. Пишу это в библиотеке – жду М. Когда б скорее пришла моя искренняя, любимая девчурка. Скучно без нее – страх как!

Ну что мне читать! О самодавлении хотелось бы повести речь в следующем фельетоне. Только подойти к этому делу совсем с другой стороны. Вот когда выйдет 5-я книжка «Вопросов философии», тогда придерусь к ней и закатаю о прогрессе. Завтра утром нужно перечесть мои заметки о прочитанном – свести его воедино, хотя бы переписав в эту тетрадь, – и тогда взяться за дальнейшее чтение. Здесь каждое слово в строку писано.

Кстати. Хочется мне также о настроении поговорить, о роли настроения в современной литературе – хочется свести это на социальные условия – но это дело успеется. Раньше следовало высказаться по поводу тех вопросов.^{к)}

14 декабря. Нужно найти естественника, который объяс-

нил бы мне, что это за штука: какая рыба выше по организации своей – рыба с жабрами или двоякодышащая. У которой из них обособление отдельных органов напряженнее? Значит, степень обособления отдельных органов они не берут за критерий совершенства? Не знает ли он еще примера, где бы несмотря на большее обособление органов – организм понизился?... Какая форма выше – наиболее окостенелая или (какая?). Можно ли брать за мерило совершенства – прямо наиболее позднее развитие.

В 8-й книжке «Русского Вестника» есть заметки г. Лохвицкой. Завтра справлюсь.

Саводник находит, в 8-й книжке «Русского Вестника», что любовь в стихотворениях Лохвицкой не романтическое мечтательное, нежное томление, нет, это всепожирающее стихийное влечение: «Я жажду наслаждений знойных, Во тьме потушенных свечей!»* Ни раздумий. Ни мечтаний. Знойная южная страсть. Чисто женственная любовь. Стремление отдать и свободу, стать рабой: И царица рабынею будет твоей.

Тот же самый журнал, который защищает декадентов. А они какую пользу принесли человеку?

Мне нужно достать Ренана. Discours и диалоги. Dialogues et fragments philosophiques¹⁶. Жаботинский переведет.^{к)}

Вот и **15 декабря**. Хейфец сказал: раньше понедельник (17-го) не ждите. Ну его к чертям. Вот бы денег достать.

¹⁶ «Речи и диалоги. Диалоги и философские отрывки» (франц.).

Ни копейки. Даже промокашку купить не на что. Плати они мне сразу деньги – я бы ежедневно по статье писал. А так дашь статью – она валяется, – глядеть тошно. Ходишь, словно проситель. Ну ее к бесу. Теперь 5 минут 8-го. Буду читать Михайловского. «Россия и Европа»*. В рассказе «Сумерки» см. стр. 340. Доказывает, на чьей стороне автор.

16 декабря, воскресенье.^{к)}

17 [декабря]. Пробую рассказ писать святочный. Выходит. Только черт его знает что! Я ведь совсем разучился в своем разбираться. Поглупел, должно быть. С чего бы это?

18-го декабря. Помирился с Борей. Руку подали друг другу. Мы, собственно, уже месяца 1 ½ в этакой доброй ссоре, как говорится. Такие отношения, когда можно смеяться, ежели твой враг остроумничает, можно, не глядя на него, возразить ему, ежели с чем не согласен в его речах.

Условился с М. не встречаться целый день, а то я ведь и сам не работаю, и ей не даю. В 7 ч. вечера. Вот уж скоро год, как я выдаюсь с ней ежедневно, не меньше 3 ч., а 10 час. – это самое обыкновенное, и как это я не надоел ей еще! Кончу Михайловского о В. В., вчера с М. начали, да не того...

Писать хочу. Во всем, что я прочел, – есть общая нить, и мне нравится мысль – соединить все разнородные произведения одной идеей. Нужно только новые журналы почитать

малость. А то я 12-х книжек и совсем не видал. «Мир Божий» возьму, чуть в библиотеку приду. Боюсь, что там будет Полинковский. Мешает читать.

Он называет меня литературной проституткой. «Твоя статья – это твой желтый билет. Нужно тебе на спину к пальто приделать, чтоб знали все люди, с кем имеют дело». Он женится на той самой швейке, к которой водил меня некогда под псевдонимом графа... Черт возьми! Больше месяца ищу книжку «Новое в сценическом искусстве» Глаголина*. Вот бы я и дернул о настроении в нынешнем искусстве.

Впрочем, и произведения искусства читать для этого нужно, а я ведь вот уже год беллетристики совсем почти не читаю. Вот бы Леонида Андреева достать. Я в библиотеке беллетристики не хочу брать, ибо для беллетристики нужно настроение, а я в библиотеке даже не всегда вниманием располагаю.

Ну, возьму Михайловского, это в «Письмах постороннего»*.

Канта взять следовало бы.

Ну разве не знаменье времени то, например, обстоятельство, что забытое и погребенное имя ультраромантика Гофмана опять выкапывается из-под пепла забвения, – по крайней мере, нас приглашают выкопать его. Сбрасывание будничной действительности – вызываемое чрезвычайно развитым воображением, освежающее атмосферу, – все это одобряется и поощряется (Евгений Дегин, Эрнест Теодор Ама-

дей Гофман). 12-й «Мир Божий»*.

Захариа Вернер – родоначальник немецкого декадентства
(см. «Самообразование», 4. Статья Л. О-кого).^{к)}

Но книжка каждая журнала
Всех уверяет в унисон,
Что славен автор «Капитала»
И Михайловский посрамлен,
Что, по словам науки строгой,
Одной-единственной дорогой
Мы все, друзья мои, пойдем.
Он ей писал: моя родная!
Мой путеводный огонек,
Вслед за Ибсеном восклицая:
О, счастлив тот, кто одинок! —
Он к одиночеству стремился
И в 19 лет женился.
Когда сквозь прорванный сапог
Три пальца скромно показались,
Все поняли, что он знаком...¹⁷

Звезды плачут в ночи

¹⁷ Наброски вариантов для «Евгения Онегина» пропущены.

Плачут;
По земле палачи
Скачут;
Ты не плачь, хохочи,
Дорогая,
Звезды плачут, в ночи
Мерцают.

19-го. Был у Хейфеца. Здесь, говорит, история вот какого рода: в «Новом Времени» напечатана статья Меньшикова. Придеритесь к ней. А сроку мне дано было 2 часа. Я взял статью с собою. Бегу, на улице читаю. Пришел к Маше, поел на те деньги, что у Дони взял, – и за работу. Не клеится. Ну, да кое-как уладил дело. Приезжаю в редакцию – Хейфец уйти должен. Я, говорит, не могу. Как тут быть? А у меня еще двух-трех строчек не того, не хватает. Пока я их дописывать стал, Хейфец и ушел. Уж Altalena и по телефону, и так и сяк – никаких! Завтра пойти не может. А я весь горю нетерпением. Такую дрянь написал вначале, что ужас прямо. Ну, да ничего не поделаешь. Пишу это в библиотеке. Против меня восседает Сигаревич, рядом с ним Комаров, а спиной ко мне вот этот, как его... полячок, что в аптеке Пискорского служит. Мне Канта взять надобно. Самодавление просмотреть.

Кант не признавал никаких «если» – при требованиях нравственности: они категоричны. А при императивах личного счастья говорится так: ты должен быть вежлив, *ежели* хочешь, чтобы тебя любили. В нравственных императивах

вах прямо: «Ты должен!» Нравственная деятельность свободна, моральные мотивы производятся совершенно свободно «практическим разумом».

О счастье.

Вчера я получил письмо от одной девицы. О, эти письма, о, эти девицы!

Т. е., собственно, против девиц я ничего не имею. Но, mesdemoiselles¹⁸, послушайтесь же наконец доброго совета: будьте веселы, милы, обворожительны, пленяйте нас, обращайтесь в своих покорных рабов – но не занимайтесь же, ради Бога, философией. Ибо, как говорит Соленый, когда философствует мужчина, то это бывает или хорошо, или дурно, но когда философствует женщина, то это уж будет потяни меня за палец.

Итак, одна из девиц хочет знать, что такое счастье.

25 декабря. Само собою Рождество. С утра мы с Марусей очень хорошо читали. Только мало. Пришел я по уговору в 11 ч., а она еще была раздета(я). Я, к великому удовольствию сидящего в соседней комнате Осиного учителя, похвалил ее, назвав собакой, за что и получил должное вознаграждение. Как бы там ни было – факт остается фактом: *читали мы хорошо, но мало.*

У М. розовый фартук. Точка. М. ц[елует] м[еня] в висок

¹⁸ барышни (франц.).

и врет будто в лоб. Читали мы вот что...

Впрочем, об этом потом, когда кончится половина листочка. Да и пищеваренье примет менее бурный характер. Вчера с М. читали *сегодняшний* № «Новостей». Там есть рассказ Бурже «Отец»*. Та же неталантливость и тот же ум, громадный ум, который дает ему *понять*, как должен бы писать талантливый художник. Из наших он напоминает больше всего Мамина-Сибиряка.

Распространюсь потом. Много мыслей по этому поводу пришло мне вчера в голову, когда little Mary¹⁹ читала вчера этот рассказ. Я в отличном состоянии духа. И утро не пропало, и с М. был вместе. Если бы только удержаться на таком положении и потом, впредь. Погода совсем не рождественская. Туман – и сквозь него какой-то намек на солнце. Ветчины еще не ел. Нужно будет завтра утром закончить возражение Altalen'e и снести Рашковскому. Он его с радостью напечатает. Нужно сбавить только отвлеченностей. Так будет солиднее. Я хотел бы, чтобы к прениям в Артистическом кружке мое мнение было бы напечатано. Я тогда стал бы возражать, ссылаясь на свою статейку. А то я говорить совсем не могу.

Язык у меня вялым становится...

Ну так вот что мы прочитали у Михайловского о Ренане*. Об его учении, как оно выразилось в «Dialogues et

¹⁹ маленькая Мэри (англ.).

26 декабря. Утро. 10 ½ часов. У М. был вчера.

31 декабря. [Набросок рассказа об Ане Кумировой исключен. – Е. Ч.]

Получил за эту ерунду 5 рублей, купил капельку колбасы, сыру, рахат-локума и хотел встречать с Марусей Новый год. Но черт дернул меня помириться с Кацем, принять его приглашение. Скука, Шерман, Ключе, пьянство, подделка Розы под пьяную, лишь бы с Генрихом полапаться, слезы, опять Ключе, песни, бутерброды, пьяная Клара, опять Ключе, тягучие взгляды Бори – и над всем этим желание уединиться с Машей. В 5 часов ушли от Кацев, позже ушли повара, дворнику не дали и под конец так хорошо поплакали вместе. На лестнице. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо...

²⁰ «Диалогах и отрывках» (англ.).

1902

1 января. Маруся сидит возле меня. Бледная, с покрасневшими глазами – милая бесконечно. Как-то невольно в голову воспоминания лезут – воспоминания бесконечно трогательные, за сердце хватающие. Помню я первое января прошлого года. Тяжелые, счастливые, удивляющиеся неожиданному счастью, с каким-то испугом перед будущим – полные самых неопределенных ощущений – пошли мы, шатаясь, на станцию. Посидели там молча. М. только иногда говорила совсем новым для меня голосом – бессвязные, понятные, не требующие связи слова. Потом поднялись. Пошли, хрустя снегом, к ее дому, поднялись по железной лестнице, подумали, стучать ли; решили постучать. Нам открыли. Мы вошли. Смешок, улыбка будущему, недоверчивая, подозрительная улыбка, но в то же время полная бесконечных надежд. Надежды! Обещанья! Ну разве сбылась хоть одна надежда, разве я сдержал хоть одно обещанье, но все же я снова даю обещанье, а в сердце нашем пылают все те же надежды. Пусть в будущем году мне не придется писать этих строк.

У М. в гостях Блиер, Зюня, Соня Шнейдер. Гриша уходит с Зюней – на ней красное пальто – и, прощаясь, говорит всякому: – Ну, что вам *пожелать* к Новому году?

Нужно говорить об индивидуализме. Я написал возражение Жаботинскому на его мнение о критике*. Он посовето-

вал мне вставить еще про индивидуализм²¹.

2 января. Сегодня должен написать сочинение: «Борьба человека с природой». Пособия: Елисеев и Реклю. Черт возьми – распишусь – ай-люли. Только больше работы брать пока не буду. Altalen'е отвечу. Хотя следовало бы взять срочное сочинение, чтобы насобачиться быстро писать. Здесь у меня ерунда – возьму размажу – и готово! Три дня тому назад я про Гоголя написал – лафа! В один день 10 таких страниц. Это пол-листа – 20 рублей, будь дело журнальное. Эх! хорошо бы про Гоголя к юбилею статью закатать. Чуть кончу с Altalenой возьмусь. А там Л. Толстого изучать стану. Гоголя мне хочется в связи с нынешним временем изучать: между тем временем, когда он явился, и нынешним – тьма сходства! Про бердяевскую борьбу за идеализм* – тоже руки чешутся. Только бы время. Эх! вот и все мое междометие.

Теперь без 5 м. 9 часов. Умоюсь, причепурюсь и к М. Я сегодня встал в 7 часов. Обыкновенно в 5 или ½ 6-го. В 10 ч. я буду в библиотеке. От 10 до 1 часу, до 2-х сочинение будет готово...

3 января.

Был вчера в Артистическом кружке... * Скука. Разбирали вопрос, нужен ли нам народный театр. «Друг детей» Радецкий*, махая руками и вскидывая волосами, сказал громкую

²¹ Возражение Altalen'е см. Приложение 1.

и горячую речь – апофеоз народу.

Там все воротили – старики, и слово «народ» не потеряло еще для них своего обаяния – так что загипнотизированная публика с восторгом слушала все дикие взвизгивания: театр, школа... облагораживает чувства... человек, побывавший в театре, не станет колотить свою жену (?) и так далее. Референт, артист Селиванов, уверял публику, что народ поймет всякую классическую пьесу, «артельный батька» Левитский божился, что все великое – просто (и великие истины высшей математики?).

Одним словом, ералаш! Милый Карменсито*, как зовет Кармена Жаботинский, – тоже заговорил. Он доказывал, что народ не все пьесы понимает, и привел два примера. Но сделал это так некстати, что публика зашикала, засвистала и даже с некоторым нетерпением потребовала, чтобы он перестал говорить. Он глуп, бедный человек. Абсолютно и неукоснительно... Он, например, даже не старается скрыть, что считает Горького серьезным своим конкурентом. Он объясняет процесс своего творчества так: «Я пишу пятнами, пятнами...» А все его произведения – это одно сплошное пятно. Он вчера говорил мне, что хочет читать в Артистическом кружке о слоге произведений Горького. Он смотрит на разряженных девиц Арт. клуба и говорит, сжав зубы: «Как я ненавижу этих великосветских девиц, если б вы знали!» Первобытен и необразован, а если бы был образован – хуже было бы! Так хоть самочувствия нет у него, рефлексия

не заедает, а в противном случае даже искренности не было бы у него. Последнего лишился бы!

М. что-то сердится на меня. Не знаю за что. Я вчера весь день не был у нее – это правда, но ведь я не мог. А может быть, есть и другая причина, может быть, я причину эту и знал, да забыл, может быть.

Герцо-Виноградский тоже глуп невероятно, т. е. так глуп, что глупее и быть нельзя. И развратник, говорят, к тому же... Говорят, многие говорят. Бесцветен донельзя. Черт с ними, впрочем.

Ну, теперь пойду к М. 2 часа. Даже не умоюсь. Вчера вернулся домой в 20 м. 3-го. Сегодня встал в $\frac{1}{2}$ 1-го. И ни к черту не гожусь. Ни писать, ничего...

7 января. Ничего не делаю. Поздно встаю. Это не годится. Был позавчера у Лазаровича. Он прочел мое возражение Altalen'е. Со многим не согласен. Например: Altalena будто и не говорил, что есть план, программа. Как же не говорил? Ведь у него идеи заготовлены, а в действие не приведены. (План не в смысле программы.) Говорят так: узнав именно то качество человека, которым занимается моя наука, я определяю все другие свойства. Значит, те качества, которыми занимается моя наука, – самые важные, и самая наука тоже

важнее всех.^{к)}

8 января. Умираю от лени. Ни за что взяться не могу. Обыкновенно распространено мнение, что 60-е годы были что ни на есть народнические по направлению своему. Теперь это мнение особенно часто повторялось все по причине 40-й годовщины со дня смерти старшего шестидесятника Добролюбова. Мне кажется, именно такими чертами, как у меня, и характеризуются 60-е годы. Тогда вообще не было какой-нибудь *отдельной* частной идеи, подчинившей себе все остальные, – тогда была одна общая – свобода личности. Человека не нужно наказывать, не нужно звать еврея жидом, не нужно смотреть на мужика как на «быдло», – все это были вещи одного порядка, и до «системы» народничества тут было далеко. И наконец, у тогдашних учителей – у Добролюбова и Чернышевского вовсе не было таких уж особенных исключительных симпатий к народу, они, что довольно ярко подчеркивает и г. Подарский в 12 кн. «Русского Богатства»*, – не боялись называть иногда народ «тупоумным», «невежественным», «косным», даже – *horrible dictu*²² – парламент они признавали вредным и т. д. Их рационализм – как верно замечает г. Подарский – не позволил им выдвинуть на передний план устроительства истории народные инстинкты.

В последнем собрании членов Литературного клуба г.

²² страшно сказать (*лат.*).

председатель объявил, что в ближайший четверг г. Altalena будет прочтен реферат о литературной критике*. Основные положения этого реферата нам, читающей публике, уже известны – их изложил г. Altalena в одном из своих фельетонов («Одесские Новости» 20 декабря). Вот по поводу этих положений мне и хотелось бы высказаться печатно на столбцах газеты. Г. Altalena ответил одному своему печатному оппоненту, что будет спорить с ним в Артистическом клубе*. Как будто всякий, интересующийся затронутым сюжетом, сможет попасть в этот клуб!

Один почтенный русский журналист в личной беседе со мною по этому поводу выразил свое недоумение перед тем обстоятельством, как же это так выходит по-вашему, что развившийся капитализм послужил причиной двух противоположных явлений: с одной стороны, способствовал оскудению публицистики, а с другой – развитию ее. Разве это возможно? Конечно, возможно, так оно и было. Происходило так потому, что раньше было, главным образом, обращено внимание литературы на одних деятелей этого процесса, а потом уже на других – рабочих... Но литература, отворотив свои симпатии от мужика, не имела никого, к кому обратиться их.

Но потом по вышеупомянутой причине... Щедрин, между прочим, сказал по этому поводу: «Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, представляет собою... отталкивающий тип... Но это еще не значит, чтобы эмансипирующийся человек был

навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобратся в них, а эта разборка приведет за собою новый и уже высший фазис развития...» («Письма к тетеньке», 632 стр.)

Когда буду говорить об этических идеях, сказать про Бердяева и Струве.

Многие склонны думать, что мужик характеризовал и шестидесятые годы. Я не согласен с таким мнением. Мне кажется, что 60-е гг. центральной идеей имели – свободу личности, всякой вообще.

В те дни, когда мне были новы
Идеи линьи мозговой.*

20 минут 5-го. Дядя сидит у окна, молчит, уже час как молчит. Мама шепотом читает «Братьев Карамазовых». Я только что переписал ¼ своего возражения Altalen'е. С М. не в ладах. Скучно. Тяжело. Хочется побыть одному, да уж слишком трудно. Давит. Куда пойти? М. на уроке. Да и препираться с нею не хочется. Да и Володя ихний противен мне очень. Кацы. Я счел бы себя сволочью, если б пошел к ним. Altalena? Он теперь работает. Синицыны? Что я с ними имею

общего? Так давит, что хоть стихи пиши. Ну, что ж?

Был у Синицыных. Был у Altalena, был у М., в библиотеке был.

[Возражение Altalen'е см. Прилож. 1. – *Е. Ч.*]

12 января. Сейчас $\frac{3}{4}$ девятого. Переписываю возражение Altalen'е. О если бы я знал, что его напечатают! С каким рвением взялся бы я за это дело! Через 2 часа, я думаю, мое возражение будет готово! И почерк мой мне не нравится, и слог противен, и смысл для самого темен. Плету канитель, и больше ничего. Ну да ничего! «Новости» не возьмут, я в «Листок» снесу. – Посмотрим. М. – вчера. Вечер. Театр. – Не надо. – Ну хорошо, я пойду. Dear, precious!²³ Когда б кончить. 5 минут просил. Еще немного! Я был вчера в Артистическом клубе. Абезгауз говорил. Великолепно – лучше этого я никогда не слышал.

$\frac{3}{4}$ *десятого*. Ничего почти не сделал. Работаю не разгибаясь. Altalena противопоставляет идею настроению если не по их смыслу, то по времени распространения их: прежде идеи, а теперь настроение. [Возражение Altalen'е см. Прилож. 1. – *Е. Ч.*]

11 час. ночи 13-го, воскресенье. День сырой, несолнечный. Библиотека, ссора с Машей, Кацы. Черт возьми! Не на-

²³ Дорогая, драгоценная (*англ.*).

писать ли мне рассказ...

Был вчера долго у Жаботинского. Ему Федоров, автор «Бурелома», дал «Детей Ванюшина»*, он третьего дня обещал дать их мне. Сам вызвался. Прошу. Говорит: не могу.

«Да ведь вы сами обещали». – «Экая скверная у меня память – я этого не помню» и т. д.

Он вечно расточает мне похвалы, что, ему действительно нравятся мои статьи, или он врет?

14 января. Прочитал я статьи г. Бердяева, и вспомнился мне такой анекдот. Один человек, лишившийся носа, сказал на исповеди своему духовному отцу иезуиту: «Возвратите мне мой нос!»

– Сын мой, все уравнивается, горе влечет за собою счастье. Вот и теперь, хотя судьба и лишила вас носа, но выгода ваша в том, что никто никогда не скажет вам, что вы остались с носом.

– Я был бы в восторге каждый день оставаться с носом, лишь бы он у меня был на надлежащем месте.

– Вы ропщете. Ведь и здесь провидение не забыло вас, если вы вопиете, что с радостью готовы были бы оставаться с носом, то и тут исполнилось ваше желание, ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом («Братья Карамазовы», 765).

Логика иезуита необыкновенно похожа на логику г. Бердяева. Вот образчик. Он идеалист. Стало быть, верит, что

красота, нравственность и прочие духовности – все это некие сущности, субстанции некоторые.

Ну вот и хорошо... Без 10 м. 9 часов. Я ничего не делаю. Михайловского читаю. Чуть приду в библиотеку – сейчас «Мир Божий» стребую.

Все глупо. Раньше обдумать.

Я знаю: и это сердечко сожмется
От черного крика души: никогда!
И в этой головке вопрос шевельнется:
Зачем это в мире так скучно ведется —
За вторником вечно плетется среда?
Я знаю: ненастья
С сухими глазами, с пылающим лбом
Ты тоже захочешь безумного счастья,
И слез, и любви, и тоски, и участия,
И тоже почувешь всем существом,
Что там, за окошком холодным и черным,
Ждать

«Сам Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира».

Л. Толстой, 13 т., 5–8 стр.

Марья Борисовна! Сегодня решается моя судьба. Хейфец по телефону сказал мне, чтобы я пришел в 7 час. Он тогда, наверное, покончит со статьей. Кланялся вам Altalena. Он угощал меня в кондитерской чаем и оттуда хотел идти в библиотеку, чтобы повидать вас, но, узнав, что вас здесь нет, переменил намеренье.

16, среда. Статья об Altalen'e *не принята**. К черту! Десять таких напишу. Что же касается планов, их два.

О Толстом и о Бердяеве.^{к)}

Я сижу в публичной библиотеке. Возле меня сидит М. Б. по правой стороне. В зале свистят, пищат, визжат и верещат. Я прочитал сегодня довольно много... Вот хорошо, что мне Кант попался. Я предложил всей нашей компании читать его. Она согласилась. Посмотрим! Маша мне все время говорит: тише, тише! Я вечером в библиотеке не читаю, а верчусь. Сегодня спал до 10 ½. Отчего бы это?.. Я совсем отучился иметь духовные страдания. Моя душа плоска, как тарелка, и пуста, как голова Клары Львовны. Я удивительно, бесконечно невпечатлителен. Нет такой вещи, которую я не мог бы позабыть через час... *Память души* – во мне совсем отсутствует. Вкус у меня громадный, тонкий, – но я даже посредственным художником никогда не буду, до такой степени я не впечатлителен... Каждый данный момент я переживаю как интересный роман, написанный гениальным художником. Но возьми перо, несчастный человек, и ты увидишь,

кто ты такой... Бледно и бесцветно потечет моя канитель, – и хороший вкус помешает мне довести ее до 2-й страницы.

17 января.^{к)}

18 января. 20 м. 10-го. Нужно читать про Толстого. Возьму сегодня Щеглова. Черт возьми! Хочется сделать доклад про индивидуализм – в Литературном клубе. Вчера говорил там. Аплодисменты, поздравления, а мне лично кажется, что я могу в тысячу раз лучше, что вчера я читал очень плохо. Нужно...

19 января. Рядом со мной сидит в библиотеке хитроумное этакое лицо. Рыжая борода. Показывает мне устав (законы, что ли): если высший или низший чин не станет повиноваться приказанию начальства – он должен живота лишен быть. И улыбается. – Для чего это вам? – спрашиваю. Гордо, но с ухмылением говорит: я – автор руководства для дворян, и мне предстоит говорить с различными одесскими лицами, так нужно ко всему готовым быть. А также веду тяжёбые дела. – На моем лице – благоговение.

1 февраля. Эх, черт побери, возьмусь-ка я снова за дневник. Не знаю почему, забросил я его. Незачем было. Сегодня писал про Гоголя. Все больше набросочки. Впереди адская работа – собрать их воедино. Раньше перечту дней за 20 свой

дневник. Там тоже мысли есть кой-какие. Я еще не уяснил себе плана статьи, но если бы мне удалось высказать все, что так неясно торчит у меня в голове, — вышла бы статья хоть куда. Все, что нынче господствует у нас, все атрибуты индивидуализма прежде преподносились русскому обществу под именем романтизма. Все как есть.

Идея ибсеновской «Дикой утки» — что правда *an sich*²⁴ под силу только исключительным людям, тем, кто способен стоять одиноко, а для людей толпы нужны маленькие успокоительные обманы, любовь.

Мы с восторгом принимаем [призывы] Горького к самоцельной борьбе, к тем, кто готов в безотчетном порыве безумно и...

Тоскливая песня Заратустры о сверхчеловеке, сильном, красивом, — мы с восторгом — все это романтизм.

План здесь таков: раньше говорить про нынешнее время, потом про гоголевское. Одинаковые проявления, но разные причины. Там — высшие натуры, обуреваемые страстями, непонятными черни, толпе, — эти небесные избранники — там они все...

В восторге Гриша. Слава Богу!
Оставив тесную берлогу,
(Он на простор полей попал).

²⁴ сама по себе (нем.).

Кстати, в ящике от стола – есть записки, способные тоже пригодиться для моей работы.

Идешь, идешь... Зачем, куда – не знаешь... —
Вперед!

Куды мне стихотворствовать! Дай Бог и так что-нибудь сделать – прозою. Эх! А время проходит. Ну, не нужно, боюсь я думать про это. Мысль о смерти, было прогнанная мною почти на год, снова посетила меня.

Эх! Возьму какую-нб. книгу, отвлекусь. Какую? «Братьев Карамазовых»? Теперь 6 ½. В 8 ч. у Маши. 2 дня тому назад была великолепная погода. Совсем весна. В пальто ходить – жарко. Много на улице встречалось людей – совсем по-летнему. А сегодня дождь без конца. И подлый, осенний дождь... Потайной, неоткровенный. С первого взгляда не заметишь, что он идет, и только когда, прищурясь, посмотришь на что-нибудь черное, увидишь, как он сеет, сеет, сеет.

Был сегодня у М. очень недолго. В 8 часов снова пойду к ней. Лечь бы спать. Пусть Аня разбудит.

2 февраля. Должен работать, а не могу. Сажу у М. Часов 11. Ну хоть бы одна мысль полезла в голову.^{к)}

Памяти Толстого*

В безумных поисках святого Эльдорадо,
Пути не видя пред собой,

Как серое, испуганное стадо,
Метались мы во тьме, холодной и немой.
И спутников давя, их трупы попирая,
И в свалке бешеной о цели позабыв,
Бежали к бездне мы... А ты, Земля Святая,
Осталась позади в тени густых олив.
Осталась позади, мы пробежали мимо,
«Вперед, вперед», – бессмысленно крича,
А бездна впереди ждала неумолимо
И не смолкал надменный свист бича.
Вперед! Вперед! без отдыха, без цели,
Бессмысленно судьбы покорные рабы,
Мы бешено, как буря, пролетели,
В безумном вихре яростной борьбы,
Спеша исчезнуть в пропасти бездонной.
И ты был с нами... Увлечен толпой, на гибель
обреченной, ты видел тьму со всех сторон.
Проклятья... Кровь, безумное смятение... О родине
забытые мечты... И полный ужаса в немом
оцепенении, у края пропасти остановился ты.
Так вот чего искали мы в пустыне,
Так вот куда бежали страстно мы!
Чему молились, как святыне,
среди мрака ужаса и тьмы!
И ты оглянулся с тоскою назад...
И видишь, там братья идут за тобою,
Идут бесконечной толпою,
И давят, и рвутся, и бьют, и кричат.
Бегут, чтобы в бездну скорее свалиться.

Как бледны их жалкие, злобные лица
и как ожесточен их потускневший взгляд.
И в поиски потерянного рая всю душу страстную влагая,
Ты мечешься во тьме и стонешь, и зовешь,
Отчаянье надеждой заменяя,
и не влечет тебя пленительная ложь
Миражей сладостных, и вдохновенным оком
Ты испытываешь тьму; там пусто и мертво,
И ты застыл в отчаянии глубоком,
Во тьме не видя ничего. Вдруг позади,
Там, на холме высоком, ты землю увидал в тени густых
олив,
Она манит к себе, лучами залитая,
И бурный закипел в душе твоей порыв,
И кинулся ты к нам, и, руки простирая
И путь нам в бездну преградив, крича.

19 марта 1902. Написал около 50 строф «Евг. Онегина»*.
Дальше как-то не пишется. Нужно хорошенько выяснить себе сюжет. Получив письмо Татьяны, Онегин рассуждает в стиле Штукмея: «оно, конечно, письмо она написала мне хорошее, но все же это дело надобно прекратить: *как бы чего не вышло!*» Татьяна ждет его – не дождется. Он приходит поздно... а я забыл сказать вам, как раз случилось так, что ныне, назло сопернице-кузине, ждалось большое торжество: должен был приехать к Ольге «великий» тенор М. – 5 часов прождала его Ольга, зеленая от злости, он не приехал... (Напрасно она перерыла целый ворох тряпок в галантерейном

магазине, ища ленту «помпадур», напрасно к ним принесено шампань – одесское вино...) Или ничего не сказать про это сейчас и повести дело так: «Когда Онегин появляется среди раздосадованных девиц – Ольга глядит на него со злобой: не для него была куплена эта лента в расшитых узорах, что теперь у нее на шее, не для него это вино, не для него торжественный абажур освещает гостиную... (тон грациозный). Кузина со змеиной улыбкой говорит ему, что Маразини обещал в 5, но, должно быть, он будет в час. Ольга, чтоб показать, что ей наплевать, берется Онегину рассказать анекдот, он внимательно слушает; когда вбегает Татьяна – (ах, я рада, как я рада, я думала, вы не придете), он холодно здоровается и заводит разговор с Ольгой... Вся компания удивлена – Татьяна обыкновенно так сдержанна...

Татьяна удивлена поведением Онегина. Она предлагает ему пойти прогуляться. Идет. Серебряная ночь. Бархатные тени. Черные силуэты деревьев... Молчат».

И вот, когда пришел Евгений, —
Надеждой радостной полна,
Бежит она, волнуясь, в сени
И видит в ужасе она,
Что там не гений вдохновенный,
А человек обыкновенный...
Ах, ведь она не для него
Приготовляла торжество.
Не для него ценой в рупь сорок

Одесско-крымское вино,
Не для него ее мамашей
Еще вчера припасено.
Не для него толпой оборок
Ея украсился наряд
Свободным принципам не в лад.

10 минут 11-го.

Увеличу эту строфу не в пример пушкинской. Вместо двух, после «благостыней» поставлю четыре стиха. Этим делом стесняться нечего.

В этой строфе я придал размер лучшему моему стихотворению и испортил его... Я написал его 14-ти лет. Вот оно:

...Со мною иногда
Весенней ночью так бывает:
бежишь вперед, не знаешь сам, куда,
вперед, вперед, пусть ветер догоняет...
Болтаешь руками, бежишь и кричишь,
а в поле и в небе обидная тишь...
На землю падешь – зарыдаешь,
а в чем твое горе – не знаешь...
The May Queen²⁵: Я хочу дожить до тех пор, как появятся
цветы
и растает снег, и солнце к нам проглянет с высоты,
И в тени кустов колючих ты меня похорони.

²⁵ Майская Королева (англ.).

When candles are out, all cats are grey.
I go to Mary. We shall go to buy me the coat²⁶.

Седых волос увенчан кушей,
Вот сионист – известный флинт,
Досель надежды подающий
Сорокалетний Wunderkind...²⁷

Ночь на 20-е [марта]. Бред. Насморк.

За ней солидный наш Евгений...
Идут, молчат, полны собой...
Ложатся бархатные тени
На посребренную луной
Дорогу к парку...
Воздух синий
Ласкает нежной благостыней...
Томит упрямой тишиной...
Глядит Татьяна пред собой
И говорит ему: «Весною
Вот что случается со мною.
Бежишь из комнаты долой,
Куда, куда, зачем, не знаешь, —
Летишь, волнуешься, кричишь —

²⁶ Когда свечи гаснут, все кошки серы. Я пойду к Марии, и мы пойдем покупать мне пальто (*англ.*).

²⁷ вундеркинд (*нем.*).

А в небесах немая тишь, —
Обидно станет: зарыдаешь,
А горе в чем – ей-ей не знаешь...

И засмеялась... Наш герой
Солидно машет головой.

Без 10 м. 7 ч. утра.

Написал 5 строф – 70 строк. Всего 56 стр.

4 июня.

Люблю вспоминать предвечерней порою
В отрадный и сумрачный час
Обо всех, кто мелькнул, как свеча, предо мною,
Зажег мое сердце и снова погас;
Обо всех, кому отдало сердце немое
Слово правды упрямой хоть раз,
Я люблю вспоминать в предвечернем покое
В тяжелый, пророческий час...
Предо мною проходят угрюмые тени,
Небрежно и злобно глядят на меня,
Проходят, смеясь, презирая, кляня,
А я – я пред ними упал на колени,
И глупые падают слезы из глаз,
Но не слышат они моих страстных молений
В тяжелый пророческий час...
Между ними одна... я не знаю, зачем она с ними,
И зачем мои губы так часто твердят

Это имя – чужое, ненужное имя, —
И зачем так суров ее пасмурный взгляд —
Ее пасмурный взгляд, где иные встречали
Слишком много тоски и печали,
Но презренья не встретил никто;
Этот взгляд, где так много ласкающей неги,
Где для всех, кто упал из житейской телеги,
У кого бессердечной судьбой отнято
Дорогое уменье смеяться и плакать
И святое стремление себя обмануть,
Кто бредет в непогодную скучную слякоть
Как-нибудь, все равно, как-нибудь.

6 июня, утром [Пропущен набросок статьи «Дарвинизм и Леонид Андреев. Второе письмо о современности». – *Е. Ч.*]

Рейтеру*

I

Судьбу доверив Паркам,
Иду я как-то парком,
И слышу – там, где тополи
Листами нежно хлопали,
Раздался поцелуй...

II

В смятениях аффекта
Целует деву некто.
Она ж полна апатии,
Сливаясь с ним в объятии,

Сидит под сенью струй.

III

В тревоге и досаде
Приперся я к ограде.
И черный ворон, каркая,
Кричит, чтоб шел из парка я,
Чтоб не мешал любить.

IV

Лежат пред ними вишни,
Они для них излишни.
Ах, ручку вы засуньте-ка,
Чтоб вишни взять из фунтика
И деву угостить.

V

Но не были красивы
Все эти перспективы:
Иные фрукты – белые,
Неспелые, незрелые,
Манят его мечты.

VI

И вот из черной тучи
Луна сверкнула лучше.
Ужель тебя прогневаю,
Когда скажу, что с девою
Сидел, о Рейтер!... ты.

VII

Луна светила ярко,
Когда я шел из парка
И устремлялся по полю
К таинственному тополю.

* * *

Не датировано:

Покаянье – его я не знаю,
Унижение – не нужно его.
Я и так его много встречаю,
Ничего, ничего, ничего.

«Ничего!» – это страшное слово.

Ах, ведь я не гляжу с ликованием
И не знаю я сытых побед, —

2 декабря 1902. Опять Кацы, опять разговоры о спектакле, о встречах Нового года, опять гололедица, Хейфец – опять, опять, опять.

Думаю о докладе про индивидуализм, о рассказе к праздникам и о статейке про Бунина*. Успею ли? Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под воскресенье

уходить куда-ниб. по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова – повторить сегодня же, но дальше по англ. не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя [ни] к черту. Потом будет поздно, и приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часу понапрасну. Надо же, ей-богу, хоть один месяц в жизни провести талантливо, а то теперь я «развлекаюсь, словно крадучись, и работаю в промежутках». Читаю Лихтенберже о Ницше – не нравится*. Бездарность этот Лихтенберже. Хочу выудить оттуда данные вот для какой мысли: Ницше считал самоцельность индивидуализма – необходимейшей его сущностью. А сам всячески восстает против самоцельности вообще. Не признает здоровья *an sich*²⁸, ну а абсолютное совершенство – это для него первое основание. Кстати: скоро выйдет горьковское «На дне», напишу-ка я к нему предисловие.

Теперь рассказ: Петр Иванович написал:

Друзья, взгляните – он идет, —
Веселый, пышный Новый год...
Друзья, исчезнут узы мрака...

(Как ни верти, а к слову «мрака» ничего, кроме «драки», не выдумаешь.)

Или так:

²⁸ самого по себе (нем.).

Друзья, не станет больше муки.

Как ни верти, к слову «муки» никакой рифмы, кроме «штуки», не выдумаешь. Но при чем же здесь штука? Решительно ни при чем. Новый год – и штука. Что касается суки – то Петр Иванович ни секунды не остановился на этом непотребном зверьке. Брюки – тоже оказались весьма некстати. Не прикинуться ли декадентом? – мелькнула у него мысль. Лафа этим декадентам:

Моих желаний злые брюки —

написал, и готово! Ступай с этими брюками в публику.

Петр Иванович подошел к зеркалу. Лицо у него солидное, борода с проседью, – никто, глядя на него, не сказал бы, что он занимается таким легкомысленным делом, как стихотворство. По крайней мере, пшеничник! – думали все. (И в самом деле, странно было подумать, что...) А на самом деле... Ах, это была старая история и т. д.

Странная штука – репортер! Каждый день, встав с постели, бросается он в тухлую гладь жизни, выхватывает из нее все необычное, все уродливое, все кричащее, все, что так или иначе нарушило комфортабельную жизнь окружающих,

выхватывает, тащит с собою в газету – и потом эта самая газета – это собрание всех чудес и необычайностей дня, со всеми войнами, пожарами, убийствами делается необходимой принадлежностью комфорта нашего обывателя – как прирученный волк в железной клетке, как бурное море, оцепленное изящными сваями.

Был дней пять назад у трагика Дальского. Неприятный господин... Вхожу... Слуга просит подождать. Потом из спальни: проси! В халате – обрюзглый и бородатый. «Я с вами по-студенчески», – говорит. Я думаю: во-1-х) я не студент, во-2-х) он не студент, а в-3-х) если бы мы и были студентами, то разве студенты ходят в халатах? Наивная уверенность, что все только и думают, что о его персоне. Рассказывает эпизоды из своей жизни, свои взгляды на искусство. «Это, – говорит, – вехи... Запишите это! при вас ваша книжка?» Каково нахальство! Дал карточки на память – извивался и пренебрежительно заискивал. Сволочь.

Altalena говорит: «Черт возьми – подмывает разругать Дальского!» Это потому, что Дальский отозвался об Алталене восторженно. Он бы еще восторженнее отозвался, если бы Алталена написал о нем, – шутит Хейфец. Должен написать письма: Андрееву*, Ком[м]иссаржевской и Изетее. Сегодня же. А то потом помешают... Следовало бы ответить m-

Не Боскович, ну да обойдется. Прочел 207 стр. Лихтенберже вслух без перерыва почти от 5 до 10 ½ ч. Были у меня Маша и Клейнер. Грудь болит. Писем так и не написал. Встал сегодня рано, да боюсь ложиться: а вдруг не засну.

3 декабря. [Край страницы оторван. — *Е. Ч.*]...читаю, бездельничаю. Сбился с панталыку. Уже... часа. Через час придет Маша. Начнем читать Шестова. Я уже читал его — да позабыл. Теперь возьмусь-ка я за составление плана статейки. Хочется мне доказать, что индивидуализм не противоречит коллективизму. Для этого я объясняю раньше индивидуализм как *самоцельность*; потом ввожу доказательства, что вообще самоцельность явление — *желательное и необходимое*. Расширяю точку зрения: в обществе все орудия имеют весьма утилитарную и недвусмысленную цель. И каждое из них, чтобы скорее и вернее достигнуть этой цели своей, — прикидывается бесцельностью. Мало того, что бесцельностью, — себя целью выставляет (примеры). То же и с индивидуализмом. Покуда довольно. Вяло все это. Не того хочу. Ну да ничего. Книжками освежиться нужно. Ведь я совсем-таки ничего не читаю. Все шатаюсь без толку туда-сюда. Плохо это. Обет на себя налагаю — работать. Работать, не выходя из дому. Заполнить весь день работой. Самым ребячливым образом разбить все свое время на части и наполнять себя содержанием. Хотя бы для этого пришлось кинуть газетничество на время. Итак, — утром до обеда чтение. Что

читать – подумаю после. От 1-го часу до 4-х ч. все случайное, неотложное; от 4-х до десяти – чтение с М. и еще с кем-нибудь. С кем? Хоть с Феодорой. С кем же? Нужна тупица, не лезущая с рассуждениями, аккуратная, терпеливая, священнодействующая, – где бы взять ее? Доня – он будет рисоваться и капризничать. Наша Маня – ломаться и конфузить. Лучше Пустынина не найти. Но отчего он так не по душе Маше? Он будет молчать, насупившись. Пыхтеть. Будет отвлекать Машино внимание. Но ведь, ей-богу, никого другого нам не надобно. А вдвоем ничего у нас не выйдет. Маша пришла. Прочли стр. 80 Неведомского, у меня без воздуха разболелась голова – я вышел пройтись. Еще сильнее. Говорю Маше: нет, вы идите себе домой, а я пойду к себе. Маша усмотрела в этом обиду – и пошла писать губерния.

11 декабря. Среда. Сидел дома и все время занимался. Результатом чего явилась следующая безграмотная заметка* [наклеена вырезка из газеты. – *Е. Ч.*]:

«В Лит. – артистическом обществе в четверг состоится очередное литературное собеседование. Г. Карнеем-Чуковским будет прочитан доклад “К вопросу об индивидуализме”».

Что то будет!

12 декабря. Вчера А. М. Федоров преподнес мне книжку своих стихов*. Читал в библиотеке – прелесть.

Что я буду возражать оппонентам? Вот разве так: в своем докладе я стремился примирить идеализм с утилитарной точкой зрения. Я хотел угодить и общественникам и индивидуалистам, и реалистам и мистикам, – а в результате не угодил, конечно, ни тем, ни другим.

Обходя молчанием те возражения, которые вызваны недо-разумением и которые, надеюсь, рассеются, чуть мои оппоненты познакомятся с докладом в печати, – я постараюсь реабилитировать свою точку зрения пред ее настоящими противниками. Господа! Мне вспоминается здесь рассказ Полевого о Суворине. Он – еще солдат – стоял и т. д.

Эпиграфом к стихам Федорова: Душой во всем ловлю намеки. Есть такие книги, которые будто созданы для того, чтобы писать на их обложке: «Дорогой кузине Оле от кузена Коли на вечную память...» Я, по крайней мере, ни одной книжки Надсона не видел без такой надписи. П. Я. и Апухтин – тоже способствуют укреплению платонических отношений между кузенами. У Апухтина есть «разбитая ваза», и у П. Я. есть «разбитая ваза». А какой же кузен не декламатор, и где видали вы кузину, которая не собиралась бы в консерваторию!

Прочтя книжку стихотворений г. Федорова, я убедился, что ей не суждено покровительствовать матримониальным видам кузенов, – в ней нет ни единой «разбитой вазы» – в

ней есть «степь, тройка, бубенчик, заря и дорога, и слева и справа ковыль», в ней «море лишь да небо, да чайки белые, да лень»... И ежели бы Коля стал читать такие вещи Оле – ничего бы из этого не вышло... Но неужто же на свете нет других людей, кроме кузенов! Не для них же пишет поэт. Ах, господа, – попробуйте как-нибудь, находясь в людном месте...

[Наклеена вырезка из газеты. – *Е. Ч.*]:

«В непродолжительном времени выйдет в свет сборник гг. Altalena и Корнея Чуковского, посвященный индивидуализму»*.

Я стоял возле кафедры и слушал, как меня бранили. Слушал и удивлялся. Неужели я говорил так неясно?

6 января. Крещение. «После того, как моя идея о самоцельности была оскорблена и осмеяна, — я посыпал главу мою пеплом и смирился». Так я хочу начать свою статью. Нет, это не годится. Недавно вышел в свет интереснейший сборник Московского психологического общества «Проблемы идеализма». Это одна из тех книг, которым суждено сделать эпоху в мировоззрении современников, ознаменовать собою новую ступень нашего духовного развития*.

21 января. Пародия на субботнее стихотворение Дм. Цензора «Цветочница»*.

Ницшеанская песня старьевщика
Продайте, продайте штаны!
Зачем они вам — объясните!
Их толстые, грубые нити
Мешают борьбе и защите,
Они вам совсем не нужны:

Продайте, продайте штаны.
Уж лучше гулять без штанов!
И в виде святого протеста
В любое публичное место,
Где много привычки рабов,

Явиться совсем без штанов!

Продайте, продайте штаны!
Зачем вам позорные узы?
Пусть затхлые сгинут союзы
И волосы злобной медузы
Порвутся в когтях сатаны.
Продайте, продайте штаны.

Когда бы старьевщик запел
Все песенки глупые эти —
Его б осмеяли на улице дети
И вряд ли домой воротился он цел!
Но так как печатано это в газете,
То все говорят обо мне как поэте
И барышни все лишь в меня влюблены.
Продайте, продайте штаны!

8 февраля. Вот такая заметка напечатана была вчера
[вклеена вырезка из газеты. — *Е. Ч.*]:

«Контрасты современности» (доклад К. Чуковского в Лит. — арт. о-ве) вызвали настоящий словесный турнир между докладчиком и отстаивавшим его положения гг. Жаботинским, Меттом, с одной стороны, и резко восставших против идеализма гг. Брусиловским, Гинзбургом и др. Прения затянулись до 12 ч. ночи. Следующее собеседование состоится через 2 недели»*.

11 февраля.

В немой безвыходной печали,
Надменным кланяясь богам,
Толпою скорбной мы стояли,
И был угрюм наш бедный храм.

Лондон, 18^е июля 1903.

Пустынину
Ваши мненья слишком грубы,
Представленья – слишком слабы.
Если б здесь коптели трубы,
Мы б чернели, как арабы.
Здесь не плавают микробы,
Словно в Черном море рыбы.
Если б так – то наши гробы
Видеть вы теперь могли бы.

Ему же:
Мой друг, не ждите
Прежней прыти
От музы пламенной моей.
Поймите:
Лондонское Сити
Весь дар похитило у ней.

18 июля 1903 г. Лондон. Маша – моя жена*. Сегодня первый раз, как я сумел оглянуться на себя – и вынырнуть из той шумихи слов, фактов, мыслей, событий, которая окружает меня, которая создана мною, которая, кажется, принадлежит мне – а на самом деле – совсем от меня в стороне. Страшно... Вот единственное слово. Страшно жить, страшнее умереть; страшно того, чем я был, страшно – чем я буду. Работа моя никудышная. Окончательно убедился, что во мне нет никакого художественного таланта. Я слишком большой ломака для этого. Непосредственности во мне нет. Скучный я человек. События жизни совсем не влияют на меня. Женитьба моя – совсем не моя. Она как будто чья-то посторонняя. Уехал в Лондон заразиться здешним духом, да никак не умею. Успехов духовных не делаю никаких. Никого и ничего не вижу. Стыдно быть такой бездарностью – но не поддаюсь я Лондону. Котелок здешний купил – и больше ничего не сделалось в этом направлении. И скука душевная. Пустота. Куда я иду, зачем? Где я? Жена у меня чудная, лучше я и представить себе не могу. Но она знает, что любить, что ненавидеть, а я ничего не знаю. И потому я люблю ее, я завидую ей, я преклоняюсь перед нею – но единства у нас никакого. Духовного, конечно. От нее я так же прячусь, как и от других. Она радуется всякому другому житейскому единству. Пусть. Я люблю, когда она радуется.

18 апр. 904. Вру и вру. Я в Лондоне – и мне очень хорошо. И влиянию я поддался, и единства с женой много – и новых чувств тьма. Легко²⁹.

²⁹ Дописано позже.

1904 Англия

18 апреля 1904. Сижу в Лондоне. Маша через 1 ½ месяца рожать будет. Читаю конец «Vanity Fair»³⁰. Денег ни фартинга. Жду Н. Машу люблю в миллион раз сильнее, чем прежде. Наволоку выстирал позавчера. Хорошо мне. Получил от девочки своей чудной – святое письмо.

2 июня. Четверг. Сегодняшний день – сто́ит того, чтобы с него начать дневник; он совсем особенный. Разобрал я вчера кровать, лег на полу. Читал на ночь Шекспира. И ни на секунду Маша у меня из головы не выходила. Утром встал, подарил оставшиеся вещи соседям, перенес сам корзину на Upper Bedford Place³¹, условился с носильщиком, получил в board-house³² свой breakfast³³ и вернулся на Gloucester Str. за новыми вещами. Звонок. Mrs. Noble дает мне вот эту телеграмму.

[Вклеена телеграмма. – *Е. Ч.*]:

Gratulieren Marie gluecklich entburden mit Sohn alles wohl.

³⁰ «Ярмарка тщеславия» (англ.).

³¹ Название улицы.

³² пансион (англ.).

³³ завтрак (англ.).

Так у меня все и запело от радости. В пустой комнате, где осталась только свернутая клеенка да связанная кровать, я зашагал громадными шагами, совсем новой для меня походкой. О чем я думал, не знаю и знать не хочу. Мне и без этого было слишком хорошо. Потом стал думать, что он будет жить дольше меня и увидит то, чего я не увижу, потом решил написать на эту тему стихи, потом вспомнил про Машины страдания, потом поймал себя на том, что у меня в голове вертится мотив:

Я здоров, и сына Яна
Мне хозяйка привела*.

Потом ушел с корзиной. Потом пошел в Британский Музей, купив по дороге эту тетрадь. В музее написал Маничке письмо, а по дороге заметил с особой радостью, как хороша ветка у дерева подле музея и как смешно сделал один человек: прицепил себе к бедру зонтик, как шпагу. Потом lunch kidney pudding³⁵, потом беседа с Лазурским, пригласить ли поповичей чай пить, потом писание вот этого дневника.

Сейчас я сделаю так: пойду и снимусь, чтобы сказать своему сыну: «Смотри, вот какой я был в тот день, когда ты ро-

³⁴ Поздравляем Мария счастливо разрешилась от бремени сыном все в порядке. Гольдфельд Чуковская (нем.).

³⁵ на завтрак пирог с почками (англ.).

дился» и чтобы вздохнуть, что этот день так бесследно прошел за другими. Вот этот день, когда я вижу из окна трубы, слышу треск кэбов и крик разносчиков.

Иду, потом забегу на Глостер-стрит и возьму несколько книг. Как бы мне хотелось, чтоб ни одна крошинка этого дня не пропала.

16 июня. Окончил корреспонденцию «о партиях»*. Читал З. Венгерову о Браунинге*. Взялся переводить его. Удивительно легко. Перевел почти начисто вот эти строки из его «Confession»³⁶.

Я лежу и смотрю, и все чудится мне
На столе между склянок – тропинка.
И бежит она, знаешь, вот к этой стене,
Где кровати железная спинка.
От усадьбы бежит между склянок она...
Да! Скажи мне: для ясного взора
Эта штора, что – видишь? – вон тут, у окна,
Голубая иль желтая штора?
Для меня она – небо июньского дня
Над тропинкой, стеною и крышей...
А та склянка, где надпись «эфир», – для меня —

³⁶ «Исповедь» (англ.).

Это дом, видишь – всех она выше.

Чтоб добраться туда, был один только путь...

Играл в шахматы. Это чума здешних моих занятий. Ну, теперь за Pendennis'а*. Стыдно – не кончить его до сих пор. А впрочем, продолжу стихи:

Чтоб добраться туда, был один только путь:
(Ты ползешь) у стены по дороге,
Чтобы все – сколько есть – все глаза обмануть,
Кроме двух – все глаза в той «Берлоге».
Так усадьба звалась.

17 июня. Не нравится мне размер, ну, да что делать!

На террасе ждала меня девушка
Возле пробки... в сиянии лета... там —
Ах, неладно тут что-то, я чувствую сам,
Да уж песня у разума спета.
Дом «Берлогой» звался...
Был один к нему путь:
Все ползком... у стены... по дороге, —
Чтобы все – сколько есть, все глаза обмануть,
Кроме двух – все глаза в той «Берлоге».

И суровым глазам не настичь никогда,
Как из спальни она пробиралась
В этой склянке, где надпись «Эфир», и сюда
По скрипучим ступеням спускалась.

Начало стихотворения:

Умирающим ухом я слышу вопрос:
«Ты теперь, покидая земное,
Не видишь ли мир яко сонмище слез?»
– Нет, Отче, я вижу иное.

18-го. Осталось 2 строфы. Одну можно выкинуть: у меня для нее грации не хватает. А перед второй робею. Первую, ежели размер изменить, напишу так:

Слабеющим ухом я слышу вопрос:
«Теперь, покидая земное,
Не видишь ли мир яко сонмище слез?»
– Нет, Отче, я вижу иное.

Вчера получил от Маши великолепное письмо. Читаю З. Венгерову. Нехорошо. Дай мне неделю времени на чтение, и я напишу любую из этих статей. Она все их читала, но не жила с ними, не жила ими, они для нее люди посторонние, и потому не она к ним приспособляется, а они к ней. Все они как будто в «Вестнике Европы» сотрудничают. Она не жила их поэзией, а только писала о них статьи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.